
ЗИМНЕЕ
ВОЛШЕБСТВО
Сборник
рождественских
рассказов

Зимнее волшебство

О. Генри, Антон Павлович Чехов, Леонид Николаевич Андреев, Василий Иванович Немирович-Данченко, Федор Михайлович Достоевский, Николай Семёнович Лесков, Чарльз Диккенс, Александр Иванович Куприн, Ганс Христиан Андерсен

Аннотация
Зимнее волшебство: сборник рождественских рассказов
О. Генри. Дары волхвов
О. Генри. Ёлка с сюрпризом
Г. Х. Андерсен. Девочка со спичками
Ф. Достоевский. Мальчик у Христа на ёлке
А. Чехов. Ванька
А. Чехов. В рождественскую ночь
А. Чехов. На святках
Л. Андреев. Ангелочек
В. Немирович-Данченко. Собака
Н. Лесков. Неразменный рубль
Ч. Диккенс. Рождественская песнь в прозе

А. Куприн. Тапёр
А. Куприн. Чудесный доктор

Аннотация

Рождественские рассказы русских и зарубежных классиков, наполненные атмосферой праздника и настоящими чудесами, взывают к справедливости и милосердию и помогают вернуться в светлые моменты детства, когда все мы ждём волшебства. Издание иллюстрировано рисунками Полины Летягиной.

Зимнее волшебство: сборник рождественских рассказов

О. Генри
Дары волхвов



Один доллар восемьдесят семь центов. Это было всё. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слёз, вздохов и улыбок, причём вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим сам дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но, скорее, красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью «М-р Джеймс Диллингем Янг». «Диллингем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингем Янг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неиз-

менно встречал возглас: «Джим!» — и нежные объятия миссис Джеймс Диллингем Янг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у неё только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот всё, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Её Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательную смену отражений

в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза её сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингем Янг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения её величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвёт на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом

окутывали почти всю её фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковёр.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блёстками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-le Sophronie. Всевозможные изделия из волос». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было

создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она всё в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Её, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела её, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчёту. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причинённые великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как её голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали её удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков.

Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом. «Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьёт меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!» В семь часов кофе был сварен, и раскалённая сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери.

Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У неё была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!

Дверь отворилась, Джим вошёл и закрыл её за собой. У него было худое озабоченное лицо. Нелёг-

кое дело в двадцать два года быть обременённым семьёй! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мёрзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрёк, ни ужас — ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на неё, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он всё ещё не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня всё равно будешь любить? Я ведь всё та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдёшь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала, остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и её нежный голос вдруг зазвучал серьёзно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займёмся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше, восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намёки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто свёрток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая причёска и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот свёрток, и тогда ты поймёшь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечёвку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увы! — чисто по-женски сменившийся потоком слёз и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет её каштановых волос. Они стоили дорого — Делла знала это, — и сердце её долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.

Всё же она прижала гребни к груди и, когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слёзы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котёнок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим ещё не видел её замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах её бурной и искренней радости.

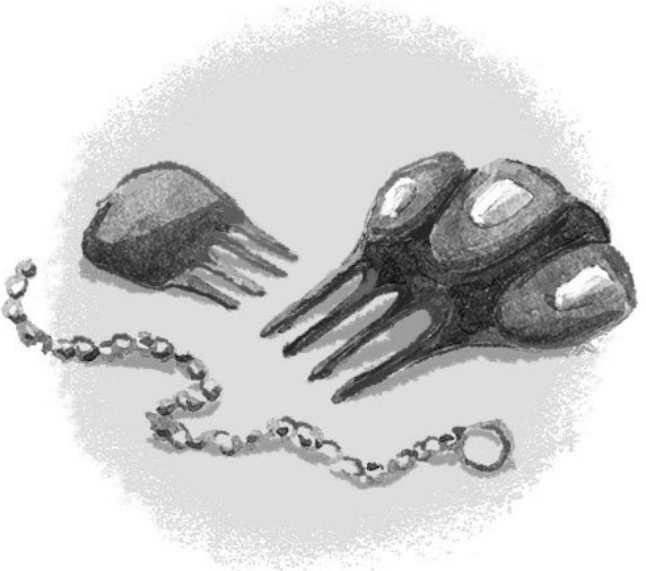
— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть всё вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лёг на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придётся нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были

мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговорённым правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.



О. Генри
Ёлка с сюрпризом



Чероки называли отцом Жёлтой Кирки. А Жёлтая Кирка была новым золотоискательским посёлком, возведённым преимущественно из неостроганных сосновых брёвен и парусины. Чероки был старателем. Как-то раз, пока его ослик утолял голод кварцем и сосновыми шишками, Чероки выворотил киркой самородок в тридцать унций весом. Чероки застолбил участок и тут же — как радушный хозяин и человек с размахом — разослал всем своим друзьям в трёх штатах

приглашение приехать, разделить с ним его удачу.

Никто из приглашённых не ответил вежливым отказом. Они прикатили с реки Хилы, с Рио-Пекос и с Солёной реки, из Альбукерка и Феникса, из Санта-Фэ и изо всех окрестных старательских лагерей.

Когда около тысячи золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали своё поселение Жёлтой Киркой, избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли Чероки цепочку для часов из небольших самородков.

Через три часа после окончания церемонии с цепочкой золото на участке Чероки иссякло. Он застолбил не жилу, а карман. Чероки бросил участок и принялся столбить новые — один за другим. Но счастье повернулось к нему спиной. Золотого песка, который он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы оплатить его счёт в баре. Зато почти у всех приглашённых им старателей дела шли на лад, и Чероки радостно улыбался и поздравлял их с успехом.

В Жёлтой Кирке подобрался народ, уважавший тех, кто не падает духом от неудачи. Старатели спросили Чероки, что они могут для него сде-

лать.

— Для меня? — сказал Чероки. — Да что ж, небольшая ссуда пришлась бы сейчас в самую пору. Надо, пожалуй, попытать счастья в Марипозе. Если нападу там на хорошую залежь, тут же пришлю вам весточку. Вы же знаете: я не из тех, кто скрывает свою удачу от друзей.

В мае Чероки навьючил своё снаряжение на ослика и повернул его задумчивой мышасто-серой мордой на север. Толпа новосёлов проводила его до воображаемой городской заставы, и он зашагал дальше, напутствуемый прощальными криками и пожеланиями успеха. Пять фляжек без единого пузырька воздуха между пробкой и содержимым были силком рассованы по его карманам. Чероки просили не забывать, что в Жёлтой Кирке его всегда будут ждать постель, яичница с салом и горячая вода для бритья, если Фортуна не надумает заглянуть к нему на стоянку в Марипозе, чтобы погреть руки у его костра.

Чероки получил это своё прозвище в соответствии с существовавшей среди старателей номенклатурной системой. Предъявления свидетельства о крещении не требовалось — каждый получал свою кличку и без этого. Имя и фамилия человека считались его личной собственностью,

а чтобы его удобнее было кликнуть к стойке и как-то отличить от других облачённых в синие рубахи двуногих, общество присваивало ему какое-нибудь временное звание, титул или прозвище. Повод для этих не предусмотренных законом крестин чаще всего усматривался в личных особенностях каждого. Ко многим без труда приставало название той местности, из которой они, по их словам, прибыли. Некоторые громко и нахально именовали себя Адамсами, или Томпсонами, или ещё как-нибудь в том же роде, бросая этим тень на свою репутацию. Кое-кто хвастливо и бесстыдно раскрывал своё бесспорно подлинное имя, но это воспринималось как пустое зазнайство и не имело успеха среди старателей. Одному типу, заявившему, что его зовут Честертон Л. К. Белмонт, и предъявившему в доказательство бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были клички вроде: Коротыш, Криволапый, Техасец, Лежебока Билл, Роджер-Выпивоха, Хромой Райли, Судья и Эд-Калифорния. Чероки получил своё прозвище потому, что он прожил будто бы некоторое время среди этого индейского племени.

Двадцатого декабря Болди, почтальон, приска-

кал в Жёлтую Кирку с потрясающей новостью.

— Как вы думаете, кого я видел в Альбукерке? — спросил Болди, заняв своё место у стойки бара. — Чероки. Разряжен в пух и прах, словно какой-нибудь султан турецкий, и швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительной шипучки, и Чероки оплачивал все счета наложенным платежом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами.

— Чероки, должно быть, напал на хорошую жилу, — сказал Эд-Калифорния. — Вот порядочный малый! Я глубоко признателен Чероки за то, что ему наконец повезло.

— Не мешало бы Чероки притопать теперь в Жёлтую Кирку, проведать старых друзей, — заметил кто-то с ноткой огорчения в голосе. — Ну, да так оно всегда бывает. Деньги — лучшее средство, чтоб отшибло память.

— Постойте, — возразил Болди, — я ещё не всё рассказал. Чероки застолбил трёхфунтовую жилу там, в Марипозе, и с каждой тонны руды добывал столько золота, что хоть всякий раз кати в Европу. Эту свою жилу он продал одному синдикату и получил сто тысяч долларов чистоганом. После этого он купил себе шубу из новорождённых

котиков, и красные сани, и… ну, угадайте, что ещё он надумал?

— В карты режется, — высказал предположение Техасец, который не мыслил себе развлечений вне азарта.

— Ах, поцелуй меня скорей, моя красотка! — пропел Коротыш, носивший в кармане чью-то фотографию и не снимавший пунцового галстука даже во время работы на участке.

— Купил пивную, — решил Роджер-Выпивоха.

— Чероки повёл меня к себе в комнату, — продолжал Болди, — и кое-что мне показал. У него там целый склад кукол, барабанов, попрыгунчиков, коньков, мешочков с леденцами, хлопушек, заводных барашков и прочей дребедени. И как вы думаете, что он собирается делать со всеми этими бесполезными побрякушками? Нипочём не угадаете. Ну так вот, Чероки мне сказал. Он задумал погрузить всё это в свои красные сани и… стойте, стойте, подождите заказывать виски!.. прискакать сюда, в Жёлтую Кирку, и закатить здешней детворе — ну да, да, здешней детворе! — такую большую рождественскую ёлку и такой великий кутёж с раздачей Говорящих кукол и Больших столярных наборов для маленьких умных мальчиков, какие не снились ещё ни одному

сосунку к западу от мыса Гаттерас!

После этих слов минуты на две воцарилось гробовое молчание. Оно было нарушено барменом. Решив, что удобный момент для проявления радушия настал, он двинул по стойке свою батарею стаканов; следом за ними и не столь стремительно поплыла бутылка виски.

— А ты сказал ему? — спросил старатель по кличке Тринидад.

— Да нет, — с запинкой отвечал Болди, — не сказал. Как-то к слову не пришлось. Ведь Чероки уже закупил всю эту муру и уплатил за неё сполна, и уж так-то был доволен собой и своей затеей… И мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, я ничего ему не сказал.

— Признаться, я несколько изумлён, — молвил Судья, вешая свою тросточку с ручкой из слоновой кости на стойку бара. — Как мог наш друг Чероки составить себе столь превратное представление о своём, так сказать, родном городе?

— Ну, то ли ещё бывает на свете, — возразил Болди. — Чероки уехал отсюда семь месяцев назад. Мало ли что могло случиться за это время. Откуда ему знать, что в городе совсем нет ребятишек и пока не ожидается.

— Да ведь если рассудить, — заметил Эд-Кали-

форния, — так это даже странно, что никаким ветром их к нам ещё не занесло. Может, это потому, что в городе покуда не налажено снабжение сосками и пелёнками?

— А для пущего эффекта, — сказал Болди, — Чероки решил сам нарядиться Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый парик и бороду, в которых он как две капли воды похож на этого парня Лонгфелло, если судить по портрету в книжке. И потом ещё красный, обшитый мехом, исподний балахон, чтобы надевать поверх всего, пару красных рукавиц и круглый красный стоячий колпак с отложным кончиком. Позор да и только, как подумаешь, что всё это обмундирование пропадёт зазря, когда столько разных Энн и Вилли мечтают об эдаком чуде!

— А когда Чероки думает прибыть сюда со своим товаром? — спросил Тринидад.

— В сочельник утром, — сказал Болди. — И он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили помещение, и поставили ёлку, и пригласили дам помочь наряжать её. Но только таких, которые умеют держать язык за зубами, — чтоб полный был сюрприз для ребят.

Отмеченное собеседниками прискорбное состояние Жёлтой Кирки соответствовало дей-

ствительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую руку возведённого посёлка. Ни разу топот резвых детских ножек не прозвучал на его единственной немощёной улице между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Всё это пришло потом. Но в те дни Жёлтая Кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто ещё не видел там горящих ожиданием плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного дня, или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза, не слышал восторженных криков по поводу великой зимней радости — ёлки. Словом, не было в Жёлтой Кирке ничего, что могло бы послужить наградой добросердечному Чероки за тот ворох добра, который он туда вёз.

Женщин в Жёлтой Кирке было всего пять. Из них три — жена пробирщика, хозяйка гостиницы «Счастливая находка» и прачка, намывавшая в своём корыте на унцию золотого песка в день, — составляли оседлую часть женского населения посёлка. Остальные две были сёстры Спэнглер — мисс Фаншон и мисс Ирма — из Передвижного драматического, который играл сейчас в импровизированном театре «Ампир». Но детей в посёлке не было. Иной раз мисс Фаншон

исполняла не без огонька роль какого-нибудь бойкого подростка, но создаваемый ею образ был плачевно далёк от того детского облика, который рисовался воображению как достойный объект праздничных щедрот Чероки.

Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидад не пошёл работать на участок, а направился к Судье в гостиницу «Счастливая находка».

— Жёлтая Кирка опозорит себя навеки, — заявил Тринидад, — если мы не поддержим Чероки в этом его ёлочном загуле. Чероки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках.

— Это начинание, — сказал Судья, — встретит всемерную поддержку с моей стороны. Я многим обязан Чероки. Однако я не вижу путей и средств… собственно говоря, отсутствие детей в нашем городе я до этой минуты склонен был рассматривать скорее как благодеяние… хотя при сложившихся обстоятельствах… тем не менее я всё-таки не вижу путей и средств…

— Взгляните на меня, — сказал Тринидад, — и вы увидите. Пути и средства стоят перед вами и уже собрались в путь-дорогу. Я сейчас раздобуду упряжку и пригоню на представление нашего

Деда Мороза целый фургон детворы… хотя бы пришлось совершить налёт на сиротский приют.

— Эврика! — воскликнул Судья.

— Нет, врёте! — решительно возразил Тринидад. — Это я первый нашёл. Я когда-то тоже учил латынь в школе.

— Я буду вас сопровождать, — заявил Судья, размахивая тросточкой. — Тот небольшой дар речи и ораторские способности, которыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда нужно будет убедить наших юных друзей предоставить себя на некоторое время напрокат для осуществления наших планов.

Через час Жёлтая Кирка была оповещена о плане Тринидада и Судьи и единодушно его одобрила. Каждый, кому было известно, что где-нибудь в радиусе сорока миль от Жёлтой Кирки проживает семья с малолетними отпрысками, поспешил поделиться своими сведениями. Тринидад тщательно всё записал и, не теряя времени, отправился на розыски лошадей и возка.

Первую остановку намечено было сделать у пятистенной бревенчатой хижины в двадцати милях от Жёлтой Кирки. Тринидад покричал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, облокотившись о расшатанную калитку. На порог

высыпала орава ребятишек, порядком оборванных, но пышущих здоровьем и снедаемых любопытством.

— Вот какое дело, — начал Тринидад. — Мы из Жёлтой Кирки. Приехали похитить у вас детишек на добровольных, так сказать, началах. Один из наших видных горожан одержим ёлочной манией и пожелал стать Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город с целым возом разной чепухи, выкрашенной в красную краску и изготовленной в Германии. А у нас в Жёлтой Кирке самый младший из сорванцов обзавёлся уже сорокапятикалиберным револьвером и безопасной бритвой. Так кто же будет кричать «Ох!» и «Ах!», когда на ёлке зажгутся свечки? Словом, друг, если вы одолжите нам парочку ребят, мы обещаем возвратить их в полной сохранности. В первый день Рождества они будут доставлены обратно в лучшем виде и притащат с собой Робинзонов в красивых переплётах, рога изобилия, красные барабаны и прочие вещественные доказательства. Ну, как?

— Другими словами, — вмешался Судья, — мы впервые со дня основания нашего небольшого, но процветающего города обнаружили его несовершенство в смысле совершенного отсутствия

в нём несовершеннолетних. И ввиду приближения того календарного срока, когда обычаем предусмотрено награждать, так сказать, нежных и юных различными бесполезными, но ходкими предметами…

— Понятно, — сказал хозяин, уминая большим пальцем табак в трубке. — Не стану задерживать вас, джентльмены. У нас со старухой, скажем прямо, семеро ребятишек. Так вот, я перебрал в уме всю кучу и что-то не вижу, кого из них мы могли бы уступить вам для вашей гулянки. Старуха уже нажарила кукурузных зёрен, а в комоде у неё спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем кутнуть на праздничках, хотя и по-домашнему, без затей. Словом, мне эта ваша выдумка не очень-то по душе, и я ни одного из своих ребят не уступлю. Премного вам благодарен, джентльмены.

Они покатили под гору, взобрались на другой холм и остановили возок у ранчо Уайли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. Судья торжественно прогудел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала двух розовощёких пострелят в складках своей юбки и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеётся и отрицательно качает головой. Опять

отказ!

Когда в низине меж холмами начали сгущаться сумерки, Тринидад и Судья уже исчерпали больше половины своего списка — и всё впустую. Они заночевали в придорожной гостинице и на заре снова пустились в путь. В возке не прибавилось ни одного седока.

— Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Тринидад, — что получить ребёнка напрокат на праздники так же трудно, как украсть масло у человека, который собрался есть блины.

— Не подлежит никакому сомнению, — отозвался Судья, — что семейные узы приобретают в этот период года исключительную, так сказать, прочность.

В канун праздника они покрыли тридцать миль, сделали четыре бесплодные остановки и произнесли четыре не имевших успеха воззвания. Детвора везде была на вес золота.

Солнце уже клонилось к закату, когда жена старшего обходчика на какой-то глухой железнодорожной ветке, загородив собой ещё одно, не подлежащее изъятию сокровище, сказала:

— На Гранитной Стрелке работает сейчас новая буфетчица. У неё, кажется, есть сынишка. Может, она и отпустит его с вами.

В пять часов вечера Тринидад пригнал своих мулов к станции Гранитная Стрелка. Поезд только что отошёл, забрав с собой утоливших голод и умиротворённых пассажиров.

На ступеньках железнодорожного буфета они увидели тощего угрюмого мальчонку лет десяти, с папиросой в зубах. В буфете, где пассажиры с налёту удовлетворили свой кочевой аппетит, царил хаос. Молодая, но искушённая заботами женщина в полном изнеможении сидела, откинувшись на спинку стула. Лицо её хранило следы своеобразной красоты — той, что никогда не исчезает бесследно, но которую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей цель их приезда.

— Да я буду рада, если вы хоть ненадолго заберёте с собой Бобби, — устало сказала женщина. — Крутишься тут как заведённая с утра до ночи — некогда за ним присмотреть. А он набирается дурных примеров от взрослых. Какие уж тут ёлки — вот разве что у вас…

Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную ёлку с подарками.

— А потом, мой юный друг, — добавил Судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы в ознаменование того, как некогда волхвы…

— А, бросьте заливать! Я не ребёнок, — насмешливо прищурившись, прервал его Бобби. — Нет никаких Дедморозов. Это вы, дяди, сами покупаете в лавке всякую дрянь и суёте ребятам ночью под подушки. И пачкаете каминными щипцами пол — будто Дед Мороз приехал на санях.

— Ну, может, и так, — примирительно сказал Тринидад. — Но ёлки-то ведь всамделишные. А у нас будет знаешь какая! Как универсальный магазин в Альбукерке — все игрушки не дешевле десяти центов. И барабаны будут, и волчки, и Ноев ковчег, и…

— К чёрту! — холодно сказал Бобби. — Я с этим давно покончил. Хочу ружьё. Не игрушечное, а настоящее, чтоб стрелять диких котов. Так у вас небось не найдётся ружья на вашей дурацкой ёлке?

— Поручиться не могу, — сказал Тринидад дипломатично, — но кто его знает… Поедем с нами, а там видно будет.

Заронив этот слабый луч надежды в душу Бобби, вербовщики вынудили у него согласие пойти навстречу филантропическому порыву Чероки и пустились со своим единственным трофеем в обратный путь.

В Жёлтой Кирке тем временем помещение

пустовавшего склада было превращено в праздничный зал, разукрашенный, как чертоги доброй аризонской феи. Дамы потрудились не зря. Ёлка, вся в свечах, серебряной мишуре и игрушках, которых хватило бы на добрых два десятка ребят, высилась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу, не покажется ли возок с похитителями детей. Ещё в полдень Чероки влетел в посёлок на красных санях, заваленных свёртками, кульками и коробками самой различной формы и размера. И так был он увлечён выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в посёлке, а открыть ему глаза на позорное состояние Жёлтой Кирки ни у кого не хватило духу; к тому же все твёрдо верили, что Тринидад и Судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел.

Когда солнце село, Чероки хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на обветренном морщинистом лице удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза и ещё один таинственный пакет с игрушками.

— Как только ребята соберутся, — наказывал он членам добровольного ёлочного комитета, — зажгите ёлку и поиграйте с ними в кошки-мышки.

А когда у них пойдёт дым коромыслом, вот тогда… тогда Дед Мороз потихоньку проскользнёт в дверь. Подарков, думается мне, должно хватить.

Дамы порхали вокруг ёлки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сёстры Спэнглер тоже были здесь: одна в костюме леди Вайолет де Вир, другая — служанки Мари, персонажей из новой пьесы «Невеста рудокопа». Спектакли в театре начинались только в девять часов, и актрисы с благосклонного разрешения комитета помогали наряжать ёлку. Кто-нибудь то и дело выскакивал на крыльцо и прислушивался, не возвращается ли упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо надвигалась ночь и пора было зажигать ёлку, да и Чероки в любую минуту мог, не спросясь, появиться на пороге в полном облачении рождественского Деда.

Но вот на улице заскрипел возок, и «похитители» подъехали к складу. Дамы всполошились и с восторженными восклицаниями бросились зажигать свечки. Мужчины беспокойно прохаживались из угла в угол или стояли небольшими группами, смущённо переминаясь с ноги на ногу.

Тринидад и Судья, истомлённые долгими

странствиями, вступили в зал, ведя за руку тщедушного, озорного с виду мальчишку. Мальчишка презрительным взглядом исподлобья окинул пёстро разряженную ёлку.

— А где же остальные дети? — вопросила жена пробирщика, игравшая первую скрипку во всех светских начинаниях города.

— Сударыня, — со вздохом отвечал Тринидад, — отправляться на разведку за детьми перед праздником — всё равно что искать серебро в известняках. Так называемые родительские чувства — сплошная для меня загадка. Похоже, что папашам и мамашам совершенно безразлично, если их потомство все триста шестьдесят четыре дня в году будет тонуть, объедаться ядовитыми дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей. Но в сочельник оно, вынь да положь, должно отравлять своим присутствием семейные сборища. Этот вот экземпляр, сударыня, — единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности.

— Ах, прелестное дитя! — проворковала мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф к середине сцены.

— Отвяжитесь! — хмуро буркнул Бобби. — Кто

это — «дитя»? Уж не вы ли?

— Дерзкий мальчишка! — ахнула мисс Ирма, не успев погасить эмалевой улыбки.

— Старались, как могли, — сказал Тринидад. — Обидно за Чероки, да что ж поделаешь.

Тут распахнулась дверь — и появился Чероки в традиционном костюме Деда Мороза. Белые космы парика и пышная белая борода закрывали почти всё его лицо, видны были только тёмные, искрившиеся весельем глаза. За спиной он нёс мешок.

Все замерли при его появлении. Даже сёстры Спэнглер, забыв принять кокетливые позы, с любопытством уставились на высокую фигуру рождественского Деда. Бобби, насупившись, засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое, обвешанное побрякушками дерево. Чероки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам. Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдёт. Чероки направился к Бобби и протянул ему руку в красной рукавице.

— Поздравляю тебя с праздником, мальчуган, — сказал он. — Можешь брать с ёлки всё, что тебе нравится, — мы сейчас достанем. Ну, давай

руку, поздоровайся с Дедом Морозом.

— Нет никаких Дедморозов, — шмыгнув носом, проворчал Бобби. — У тебя фальшивая борода. Из старых козлиных очёсов. Я не ребёнок. На чёрта мне эти куклы и оловянные лошадки? Кучер сказал, что дадут ружьё. А у тебя его нет. Я хочу домой.

Тринидад пришёл на помощь. Он схватил руку Чероки и горячо её потряс.

— Ты уж прости, Чероки, — сказал он. — Нет у нас в Жёлтой Кирке никаких ребят, да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твоё суарэ, да вот, кроме этой сардинки, ничего не удалось выловить. А он, понимаешь ли, атеист и не верит в рождественских Дедов. Нам очень совестно, что ты зря потратился. Да ведь мы с Судьёй думали, что притащим сюда целую ораву мелюзги и все твои свистульки пойдут в ход.

— Ну и ладно, — спокойно сказал Чероки. — Подумаешь, какие траты, есть о чём говорить! Свалим всё это барахло в старую шахту, да и дело с концом. Но надо же быть таким ослом — прямо из головы вон, что в Жёлтой Кирке нету ребятишек!

Гости меж тем с похвальным усердием, хотя и без особого успеха, делали вид, что веселятся

вовсю.

Бобби отошёл в угол и уселся на стул. Холодная скука была отчётливо написана на его лице. Чероки, ещё не вполне отвыкнув от своей роли, подошёл и сел рядом.

— Где ты живёшь, мальчик? — вежливо осведомился он.

— На Гранитной Стрелке, — нехотя процедил Бобби.

В зале было жарко. Чероки снял свой колпак, парик и бороду.

— Эй! — несколько оживившись, произнёс Бобби. — А ведь я тебя знаю.

— Разве мы с тобой встречались, малыш?

— Не помню. А вот карточку твою я видел. Сто раз.

— Где?

Бобби колебался.

— Дома. На комоде.

— Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут?

— Роберт Лэмсден. Это материна карточка. Она прячет её ночью под подушку. Я раз видел даже, как она её целовала. Вот уж нипочём бы не стал. Но женщины все на один лад.

Чероки встал и поманил к себе Тринидада.

— Посиди с мальчиком, я сейчас вернусь. Пойду сниму этот балахон и заложу сани. Надо отвезти мальчика домой.

— Ну, безбожник, — сказал Тринидад, занимая место Чероки. — Ты, брат, значит, настолько одряхлел и всем пресытился, что тебя уже не интересует разная ерунда вроде сластей и игрушек?

— Ты неприятный тип, — язвительно сказал Бобби. — Ты обещал, что будет ружьё. А здесь человеку даже покурить нельзя. Я хочу домой.

Чероки пригнал сани к крыльцу, и Бобби водрузили на сиденье. Резвые лошадки бойко рванулись вперёд по укатанной снежной дороге. На Чероки была его пятисотдолларовая шуба из новорождённых котиков. Меховая полость приятно грела.

Бобби вытащил из кармана папиросу и принялся чиркать спичкой.

— Брось папиросу! — сказал Чероки спокойно, но каким-то новым голосом.

После некоторого колебания Бобби швырнул папиросу в снег.

— Брось всю коробку, — приказал новый голос.

Мальчик повиновался не сразу, но всё же исполнил и этот приказ.

— Эй! — сказал вдруг Бобби. — А ты мне нравишься. Не пойму даже почему. Попробовал бы кто-нибудь так надо мной командовать!

— Послушай, малыш, — сказал Чероки обыкновенным голосом. — А ты не врёшь, что твоя мать целовала эту карточку? Ту, что на меня похожа?

— Не вру. Сам видел.

— Ты, кажется, что-то говорил насчёт ружья?

— Ну да. А что? Есть у тебя?

— Завтра получишь. С серебряными нашлёпками.

Чероки поглядел на часы.

— Половина десятого. Что ж, мы с тобой доберёмся до Гранитной Стрелки как раз к празднику, минута в минуту. Тебе не холодно? Садись поближе, сынок.



Г. Х. Андерсен
Девочка со спичками



Морозило, шёл снег, на улице становилось всё темнее и темнее. Это было как раз в вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытою головой и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились! Огромные-преогромные! Последней их носила мать девочки, и они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной

туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из неё выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут.

И вот девочка побрела дальше босая; ножонки её совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у неё лежало несколько пачек серных спичек; одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у неё ни спички; она не выручила ни гроша. Голодная, иззябшая, шла она всё дальше, дальше… Жалко было и взглянуть на бедняжку! Снежные хлопья падали на её прекрасные вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки, по улицам пахло жареными гусями; сегодня ведь был канун Нового года — вот об этом она думала.

Наконец она уселась в уголке, за выступом одного дома, съёжилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало ещё холоднее, а домой она вернуться не смела: она ведь не продала ни одной спички, не выручила ни гроша — отец прибьёт её! Да и не теплее у них дома! Только что крыша-то над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты

соломой и тряпками. Ручонки её совсем окоченели. Ах! одна крошечная спичка могла бы согреть её! Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики! Наконец, она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое тёплое, ясное, и, когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка: девочке чудилось, будто она сидит перед большою железною печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке! Она вытянула было и ножки, но… огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички.

Вот она чиркнула другою; спичка загорелась, пламя её упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю комнату, накрытый белоснежною скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нём жареного гуся, начинённого черносливом и яблоками. Что за запах шёл от него! Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкою и ножом в спине, так и побежал вперевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла

одна толстая, холодная стена.

Она зажгла ещё спичку и очутилась под великолепнейшею ёлкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Ёлка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пёстрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к ёлке обе ручонки, но спичка потухла, огоньки стали подыматься всё выше и выше и превратились в ясные звёздочки; одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собою длинный огненный след.

— Вот, кто-то умирает! — сказала малютка.

Покойная бабушка, единственное любившее её существо в мире, говорила ей: «Падает звёздочка — чья-нибудь душа идёт к Богу».

Девочка чиркнула об стену новою спичкой; яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окружённая сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая её бабушка.

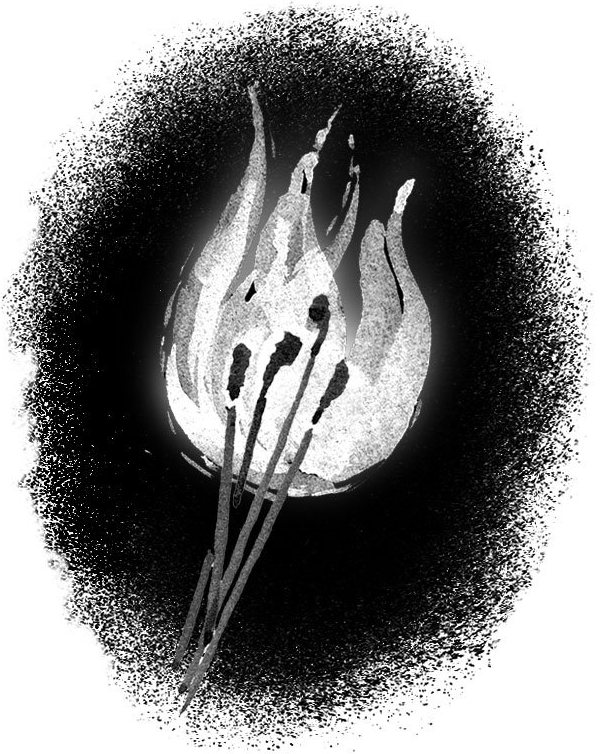
— Бабушка! — вскричала малютка. — Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдёшь, как только погаснет спичка, уйдёшь, как тёплая печка, чудесный жареный гусь и большая, славная ёлка!

И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у неё в руках, — так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее чем днём. Никогда ещё бабушка не была такою красивою, такою величественною! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе, в сиянии и в блеске, высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха — к Богу!

В холодный утренний час, в углу за домом, по-прежнему сидела девочка с розовыми щёчками и улыбкой на устах, но мёртвая. Она замёрзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем обгорела.

— Она хотела погреться, бедняжка! — говорили люди.

Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась, вместе с бабушкой, к новогодним радостям на небо!



Ф. Достоевский
Мальчик у Христа на ёлке



Ещё очень маленький, лет шести или даже менее, мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная

мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили ещё два дня тому в полицию. Жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мёртво-пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к её углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашёл и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошёл из подвала. Он ещё бы и раньше пошёл, да всё боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но

собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда ещё он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой чёрный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется, — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мёрзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошёл блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие

лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеётся, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги всякие — миндальные, красные, жёлтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придёт, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошёл. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать её. Выбежал мальчик и пошёл поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берёт

его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зелёные платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали

болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдём ко мне на ёлку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это всё его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, какой свет! О, какая ёлка! Да и не ёлка это, он и не видал ещё таких деревьев! Где это он теперь: всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеётся на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы,

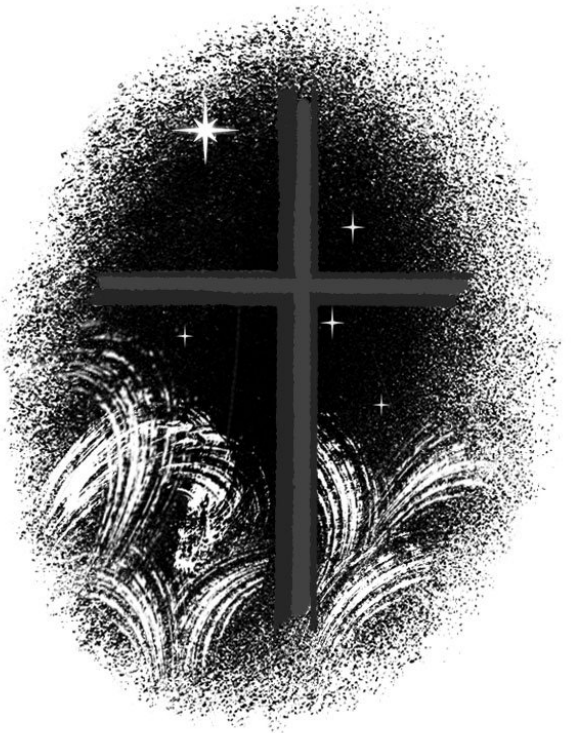
девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова ёлка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замёрзли ещё в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвёртые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слёзы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замёрзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла ещё прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не

идущую в обыкновенный разумный дневник, да ещё писателя? А ещё обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об ёлке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.



А. Чехов
Ванька



Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву,

он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях.

> «Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелёк Вьюн, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и

ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплёскивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит:

— Отдирай, примёрзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но

видно всю деревню с её белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребрённые инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом…

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возь-

ми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру…»

Ванька покривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома все господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на

окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут: которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать её… Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину…

> «Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу…

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики; а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…



А. Чехов
В рождественскую ночь



Молодая женщина лет двадцати трёх, с страшно бледным лицом, стояла на берегу моря и глядела в даль. От её маленьких ножек, обутых в бархатные полусапожки, шла вниз к морю ветхая, узкая лесенка с одним очень подвижным перилом.

Женщина глядела в даль, где зиял простор, залитый глубоким, непроницаемым мраком. Не было видно ни звёзд, ни моря, покрытого снегом, ни огней. Шёл сильный дождь…

«Что там?» — думала женщина, вглядываясь в даль и кутаясь от ветра и дождя в измокшую

шубейку и шаль.

Где-то там, в этой непроницаемой тьме, вёрст за пять — за десять или даже больше, должен быть в это время её муж, помещик Литвинов, со своею рыболовной артелью. Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось и, говорят, скоро начнёт ломать лёд. Лёд не может вынести этого ветра. Успеют ли их рыбачьи сани с безобразными крыльями, тяжёлые и неповоротливые, достигнуть берега прежде, чем бледная женщина услышит рёв проснувшегося моря?

Женщине страстно захотелось спуститься вниз. Перило задвигалось под её рукой и, мокрое, липкое, выскользнуло из её рук, как вьюн. Она присела на ступени и стала спускаться на четвереньках, крепко держась руками за холодные грязные ступени. Рванул ветер и распахнул её шубу. На грудь пахнуло сыростью.

— Святой чудотворец Николай, этой лестнице и конца не будет! — шептала молодая женщина, перебирая ступени.

В лестнице было ровно девяносто ступеней. Она шла не изгибами, а вниз по прямой линии, под острым углом к отвесу. Ветер зло шатал её

из стороны в сторону, и она скрипела, как доска, готовая треснуть.

Через десять минут женщина была уже внизу, у самого моря. И здесь внизу была такая же тьма. Ветер здесь стал ещё злее, чем наверху. Дождь лил, и, казалось, конца ему не было.

— Кто идёт? — послышался мужской голос.

— Это я, Денис…

Денис, высокий плотный старик с большой седой бородой, стоял на берегу, с большой палкой, и тоже глядел в непроницаемую даль. Он стоял и искал на своей одежде сухого места, чтобы зажечь о него спичку и закурить трубку.

— Это вы, барыня Наталья Сергеевна? — спросил он недоумевающим голосом. — В этакое ненастье?! И что вам тут делать? При вашей комплекцыи после родов простуда — первая гибель. Идите, матушка, домой!

Послышался плач старухи. Плакала мать рыбака Евсея, поехавшего с Литвиновым на ловлю. Денис вздохнул и махнул рукой.

— Жила ты, старуха, — сказал он в пространство, — семьдесят годков на эфтом свете, а словно малый ребёнок, без понятия. Ведь на всё, дура ты, воля Божья! При твоей старческой слабости тебе на печи лежать, а не в сырости сидеть! Иди

отсюда с богом!

— Да ведь Евсей мой, Евсей! Один он у меня, Денисушка!

— Божья воля! Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пущай море хоть сто раз ломает, а он живой останется. А коли, мать моя, суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. Не плачь, старуха! Не один Евсей в море! Там и барин Андрей Петрович. Там и Федька, и Кузьма, и Тарасенков Алёшка.

— А они живы, Денисушка? — спросила Наталья Сергеевна дрожащим голосом.

— А кто ж их знает, барыня! Ежели вчерась и третьего дня их не занесло метелью, то, стало быть, живы. Море ежели не взломает, то и вовсе живы будут. Ишь ведь, какой ветер. Словно нанялся, Бог с ним!

— Кто-то идёт по льду! — сказала вдруг молодая женщина неестественно хриплым голосом, словно с испугом, сделав шаг назад.

Денис прищурил глаза и прислушался.

— Нет, барыня, никто нейдёт, — сказал он. — Это в лодке дурачок Петруша сидит и вёслами двигает. Петруша! — крикнул Денис. — Сидишь?

— Сижу, дед! — послышался слабый, больной голос.

— Больно?

— Больно, дед! Силы моей нету!

На берегу, у самого льда стояла лодка. В лодке на самом дне её сидел высокий парень с безобразно длинными руками и ногами. Это был дурачок Петруша. Стиснув зубы и дрожа всем телом, он глядел в тёмную даль и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держались за вёсла, а левая нога была подогнута под туловище.

— Болеет наш дурачок! — сказал Денис, подходя к лодке. — Нога у него болит, у сердешного. И рассудок парень потерял от боли. Ты бы, Петруша, в тепло пошёл! Здесь ещё хуже простудишься…

Петруша молчал. Он дрожал и морщился от боли. Болело левое бедро, задняя сторона его, в том именно месте, где проходит нерв.

— Поди, Петруша! — сказал Денис мягким, отеческим голосом. — Приляг на печку, а Бог даст, к утрене и уймётся нога!

— Чую! — пробормотал Петруша, разжав челюсти.

— Что ты чуешь, дурачок?

— Лёд взломало.

— Откуда ты чуешь?

— Шум такой слышу. Один шум от ветра, дру-

гой от воды. И ветер другой стал: помягче. Вёрст за десять отседа уж ломает.

Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем гуле не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума от дождя.

Прошло полчаса в ожидании и молчании. Ветер делал своё дело. Он становился всё злее и злее и, казалось, решил во что бы то ни стало взломать лёд и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. Дождь между тем становился всё слабей и слабей. Скоро он стал так редок, что можно уже было различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. Это звонили наверху, в рыбачьей деревушке, на ветхой колокольне. Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождём, должны были ехать на этот звон, — соломинка, за которую хватается утопающий.

— Дед, вода уж близко! Слышишь?

Дед прислушался. На этот раз он услышал гул, не похожий на вой ветра или шум деревьев. Дурачок был прав. Нельзя уже было сомневаться, что Литвинов со своими рыбаками не воротится на сушу праздновать Рождество.

— Кончено! — сказал Денис. — Ломает!

Старуха взвизгнула и присела к земле. Барыня, мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала слушать. И она услышала зловещий гул.

— Может быть, это ветер! — сказала она. — Ты убеждён, Денис, что это лёд ломает?

— Божья воля-с!.. За грехи наши, сударыня…

Денис вздохнул и добавил нежным голосом:

— Пожалуйте наверх, сударыня! Вы и так вымокли!

И люди, стоявшие на берегу, услышали тихий смех, смех детский, счастливый… Смеялась бледная женщина. Денис крякнул. Он всегда крякал, когда ему хотелось плакать.

— Тронулась в уме-то! — шепнул он тёмному силуэту мужика.

В воздухе стало светлей. Выглянула луна. Теперь всё было видно: и море с наполовину истаявшими сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морщившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то верёвки.

Раздался первый явственный треск невдалеке от берега. Скоро раздался другой, третий, и воздух огласился ужасающим треском. Белая бесконечная громада заколыхалась и потемнела. Чудовище проснулось и начало свою бурную

жизнь.

Вой ветра, шум деревьев, стоны Петруши и звон — всё умолкло за рёвом моря.

— Надо уходить наверх! — крикнул Денис. — Сейчас берег зальёт и занесёт кригами. Да и утреня сейчас начнётся, ребята! Пойдите, матушка-барыня! Богу так угодно!

Денис подошёл к Наталье Сергеевне и осторожно взял её под локти…

— Пойдёмте, матушка! — сказал он нежно, голосом, полным сострадания.

Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смертельно бледна; на щеках её играл здоровый румянец, словно в её организм налили свежей крови; глаза не глядели уже плачущими, и руки, придерживавшие на груди шаль, не дрожали, как прежде… Она теперь чувствовала, что сама, без посторонней помощи, сумеет пройти высокую лестницу…

Ступив на третью ступень, она остановилась как вкопанная. Перед ней стоял высокий, статный мужчина в больших сапогах и полушубке…

— Это я, Наташа… Не бойся! — сказал мужчина.

Наталья Сергеевна пошатнулась. В высокой

мерлушковой шапке, чёрных усах и чёрных глазах она узнала своего мужа, помещика Литвинова. Муж поднял её на руки и поцеловал в щёку, причём обдал её парами хереса и коньяка. Он был слегка пьян.

— Радуйся, Наташа! — сказал он. — Я не пропал под снегом и не утонул. Во время метели я со своими ребятами добрёл до Таганрога, откуда вот и приехал к тебе… и приехал…

Он бормотал, а она, опять бледная и дрожащая, глядела на него недоумевающими, испуганными глазами. Она не верила…

— Как ты измокла, как дрожишь! — прошептал он, прижимая её к груди…

И по его опьяневшему от счастья и вина лицу разлилась мягкая, детски добрая улыбка… Его ждали на этом холоде, в эту ночную пору! Это ли не любовь? И он засмеялся от счастья…

Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий, счастливый смех. Ни рёв моря, ни ветер — ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, искажённым отчаянием, молодая женщина не была в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нём слышалось всё: и замужество поневоле, и непреоборимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и наконец

рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся её жизнь с её горем, слезами и болью вылилась в этом вопле, не заглушённом даже трещавшими льдинами. Муж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его…

— Тебе горько, что меня не занесло снегом или не раздавило льдом! — пробормотал он.

Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась горькая улыбка. Он сошёл со ступеней и опустил жену наземь.

— Пусть будет по-твоему! — сказал он.

И, отвернувшись от жены, он пошёл к лодке. Там дурачок Петруша, стиснув зубы, дрожа и прыгая на одной ноге, тащил лодку в воду.

— Куда ты? — спросил его Литвинов.

— Больно мне, ваше высокоблагородие! Я утонуть хочу… Покойникам не больно…

Литвинов прыгнул в лодку. Дурачок полез за ним.

— Прощай, Наташа! — крикнул помещик. — Пусть будет по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здесь на холоде! С Богом!

Дурачок взмахнул вёслами, и лодка, толкнувшись о большую льдину, поплыла навстречу высоким волнам.

— Греби, Петруша, греби! — говорил Литви-

нов. — Дальше, дальше!

Литвинов, держась за края лодки, качался и глядел назад. Исчезла его Наташа, исчезли огоньки от трубок, исчез наконец берег…

— Воротись! — услышал он женский надорванный голос.

И в этом «воротись», казалось ему, слышалось отчаяние.

— Воротись!

У Литвинова забилось сердце… Его звала жена; а тут ещё на берегу в церкви зазвонили к Рождественской заутрене.

— Воротись! — повторил с мольбой тот же голос.

Эхо повторило это слово. Протрещали это слово льдины, взвизгнул его ветер, да и Рождественский звон говорил: «Воротись».

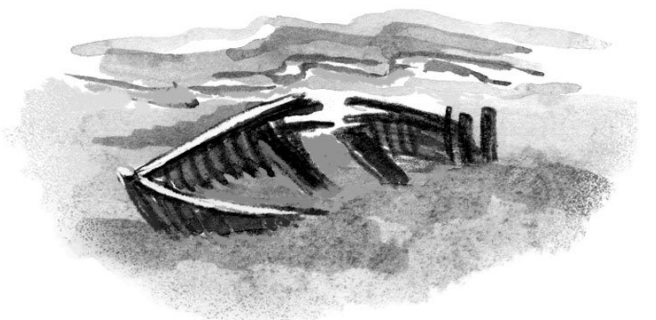
— Едем назад! — сказал Литвинов, дёрнув дурачка за рукав.

Но дурачок не слышал. Стиснув зубы от боли и глядя с надеждою в даль, он работал своими длинными руками… Ему никто не кричал «воротись», а боль в нерве, начавшаяся сызмальства, делалась всё острее и жгучей… Литвинов схватил его за руки и потянул их назад. Но руки были тверды, как камень, и не легко было оторвать

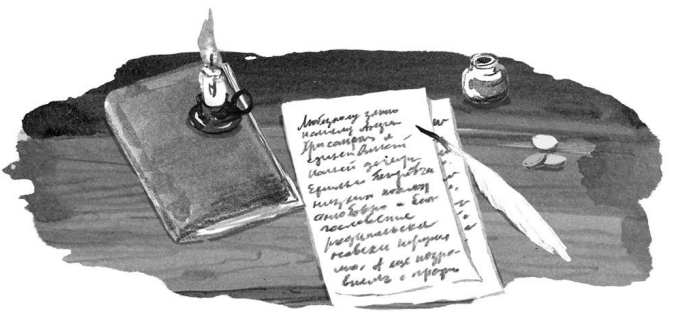
их от вёсел. Да и поздно было. Навстречу лодке неслась громадная льдина. Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу от боли…

До утра простояла бледная женщина на берегу моря. Когда её, полузамёрзшую и изнемогшую от нравственной муки, отнесли домой и уложили в постель, губы её всё ещё продолжали шептать: «Воротись!»

В ночь под Рождество она полюбила своего мужа…



А. Чехов
На святках



I

— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо. Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула; ни слуху ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью — и всё думала об одном: как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, но

старик писать не умел, а попросить было некого.

Но вот пришли Святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который, как пришёл со службы, так и сидел всё дома, в трактире, и ничего не делал; про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на пятиалтынном.

И теперь — это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне — Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришёл и Пётр, её старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и фыркала и как будто даже говорила: «Флю-флю-флю». Было душно.

— Что писать? — спросил опять Егор.

— Чего! — сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. — Не гони! Небось не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье

Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.

— Есть. Стреляй дальше.

— А ещё поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа… Царя Небесного.

Василиса подумала и переглянулась со стариком.

— Чего и вам желаем от Господа… Царя Небесного… — повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!

— Жарко! — проговорил Егор, расстёгивая жилет. — Должно, градусов семьдесят будить. Что же ещё? — спросил он.

Старики молчали.

— Чем твой зять там занимается? — спросил Егор.

— Он из солдат, батюшка, тебе известно, — от-

ветил слабым голосом старик. — В одно время с тобой со службы пришёл. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах.

— Вот тут написано… — сказала старуха, вынимая из платочка письмо. — От Ефимьи получили, ещё бог знает когда. Может, их уж и на свете нет.

Егор подумал немного и стал быстро писать.

> «В настоящее время, – писал он, – как судба ваша через себе определила на Военое Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военнаго Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цывилизацию Чинов Военаго Ведомства».

Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до Святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу… Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?

«Обратите внемание, – продолжал Егор писать, – в 5 томе Военых Постановлений. Солдат есть Имя обчшее, Знаменитое. Солдатом называется Перьвейшый Генерал и последней Рядовой…»

Старик пошевелил губами и сказал тихо:

— Внучат поглядеть, оно бы ничего.

— Каких внучат? — спросила старуха и поглядела на него сердито. — Да, может, их и нету!

— Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает!

«И поетому Вы можете судить, – торопился Егор, – какой есть враг Иноземный и какой Внутреный. Перьвейшый наш Внутреный Враг есть: Бахус».

Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито

и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у неё разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору; и когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды.

Кончив писать, Егор встал и прочёл всё письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой.

— Ничего, гладко… — сказал он, — дай бог здоровья. Ничего…

Положили на стол три пятака и вышли из трактира; старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие, а Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито:

— У-у, язва!

Всю ночь старуха не спала, беспокоили её мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо.

До станции было одиннадцать вёрст.

II

Водолечебница доктора Б. О. Мозельвейзера работала и на Новый год так же, как в обыкновенные дни, и только на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми галунами, блестели как-то особенно сапоги; и всех приходивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем.

Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету. Ровно в десять часов вошёл генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним — почтальон. Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал:

— С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!

— Спасибо, любезный. И тебя также.

И, идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил (он каждый день спрашивал и всякий раз потом забывал):

— А в этой комнате что?

— Кабинет для массажа, ваше превосходительство!

Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфыч осмотрел полученную почту и нашёл одно письмо на своё имя. Он распечатал, прочёл

несколько строк, потом, не спеша, глядя в газету, пошёл к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его Ефимья сидела на кровати и кормила ребёнка; другой ребёнок, самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени, третий спал на кровати.

Войдя в свою комнатку, Андрей подал жене письмо и сказал:

— Должно, из деревни.

Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре, недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для неё было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеётся.

— Это от бабушки, от дедушки… — говорила она. — Из деревни… Царица небесная, святители-угодники. Там теперь снегу навалило под крыши… деревья белые-белые. Ребятки на махоньких саночках… И дедушка лысенький на печке… и собачка жёлтенькая… Голубчики мои родные!

Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма,

просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела: он не послал, письма где-то завалялись.

— А в поле зайчики бегают, — причитывала Ефимья, обливаясь слезами, целуя своего мальчика. — Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалосливая. В деревне душевно живут, Бога боятся… И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда Царица Небесная, заступница-матушка!

Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришёл, и Ефимья вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза, и только губы у неё дрожали. Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не смела сказать при нём ни одного слова.

Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьёзное лицо, побежал к своей парадной двери.

Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны.

— А в этой комнате что? — спросил он, указывая на дверь.

Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам,

и произнёс громко:

— Душ Шарко, ваше превосходительство!



Л. Андреев
Ангелочек



I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всём теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как

ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему показалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдёт год, и ещё год, и ещё год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его ещё больше и орал без слёз, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орёт на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из

гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил её за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком чёрном строении, стоявшем поперёк улицы, на выезде, зажёгся красноватый, немигающий огонёк. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажжённого фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночничаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у неё были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо неё, он почувствовал знакомый запах водки.

Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошёл за перегородку, где слышалось тяжёлое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскалённой лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на ёлку звали. Горничная приходила, — прошептал он.

— Врёшь? — спросил с недоверием Сашка.

— Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

— Врёшь? — всё больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец ещё раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: — А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если ещё я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хороши,

антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка! — поёжился от холода отец. — Не сносить тебе головы.

— А ты-то сносил? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ёжился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила всё, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки её всё тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними весёлые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съёжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости

и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у неё на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдёшь! — И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подёргивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох как изобью! — кричала мать.

— Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замёрзнет, чем пойдёт к Свечниковым; поэтому она прибегала к авторитету мужа.

— А ещё отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина ещё рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он ещё служил в земской статистике и ничего не пил. Разошёлся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и всё, что связывалось с прошлым её мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с ёлки принесёшь, — продолжал отец.

Он хитрил — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну, ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей ещё не пускали в залу, где находилась ёлка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошёл к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста ещё не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивлённые глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузье? На! — протянул мальчик ру-

жьё с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвёл пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дёрнул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись ещё шире, и в них показались слёзы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой… Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачёсанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, — показывая на Сашку сопровождавшему её лысому господину. — Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил её, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитриевна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович,

устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.

— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне всё равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевёл глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришёл в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдётся, — сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на

Сашку и поглаживая поднявшиеся на затылке волосики. Впрочем, мы ещё посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая ёлки. Опыт с ружьём, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашёл себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазёнки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещённую залу и тихо обходили сверкающую ёлку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим её восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетённой голубой ленточкой хлопала по её плечам. Сашка был угрюм и печален, что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвлённом сердце.

Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг неё чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть её так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной жёлтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращённой к нему стороне ёлки, которая была освещена слабее других и составляла её изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек,

небрежно повешенный в гуще тёмных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нём печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем всё остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый… милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далёк и не похож на всё, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, наряд-

ные, красивые, на этой сверкающей ёлке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в тёмной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый… милый! — шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он ещё здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачёсанных волос. Дети окружили её с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомлённо повисла у неё на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошёл и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тётя, а тётя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило ещё более грубо, чем всегда. — Те… Тётечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дёрнул её за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дёргаешь меня за платье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.

— Те… тётечка. Дай мне одну штуку с ёлки — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Ёлку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марией Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на её чёрное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки

ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку всё-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дёрнул тётку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошёл! — воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на неё и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на её губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тётку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в неё глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. — Кто это повесил её сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с ним делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, на уж, на, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряжёнными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, зами-

рающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда ещё не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронёсся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая ёлка, и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья.

И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворённым рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съёжившись, как готовящаяся к прыжку

пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет её с трудом проникал через закопчённое стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шёпотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

— Да, в нём есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.

— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдёрнул руку и тёмными глазами изучал

подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за всё руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а всё окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — всё это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и всё это чистое нашло приют в душе её, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К

запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку её дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнёт его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была её душа, и внёс луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в чёрную душу человека, у которого было отнято всё: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезало настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и чёрный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятённую душу. Всё добро, сияющее над миром, всё глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному

тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руки на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

— Это она тебе дала? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

— А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.

— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь всё, что было, любишь и страдаешь, как наяву…

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Всё сильнее дрожала и дёргалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжёлую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем всё это?

— Ну, что ещё? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду… не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж… зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи… держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикреплённой к отдушине печки, и отчётливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лёг на спину,

чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, что точно шёл ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомлённое лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который ещё только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопчённое стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжёлый запах топлёного воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полёта, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дёрнув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.



В. Немирович-Данченко
Собака



Что это была за Рождественская ночь! Пройдут ещё десятки лет, тысячи лиц, встреч и впечатлений мелькнут мимо, следа не оставят, а она всё будет предо мною в лунном блеске, в причудливой рамке Балканских вершин, где, казалось, все мы были так близки к Богу и Его кротким звёздам…

Как теперь помню: лежали мы пластом — усталь так морила, что не хотелось даже близко

к костру подвинуться.

Фельдфебель последним прилёг. Ему пришлось указать места всей роте, проверить солдат, принять приказание от командира. Это был уже старый солдат, оставшийся на второй срок. Война подошла — стыдно ему показалось уходить от неё. Он принадлежал к тем, у кого под холодною внешностью бьётся горячее сердце. Брови нависли сурово. И глаз не разберёшь, а рассмотри их — прямо к нему со своим горем самый ледящий солдатишко доверчиво пойдёт. Добрые, добрые они — и светились, и ласкали.

Лёг он, потянулся… «Ну, слава Богу, теперь для-ради Рождества Христова и отдохнуть можно!» К огню повернулся, трубку вынул, закурил. «Теперь до рассвета — покой…»

И вдруг мы вздрогнули оба. Близко-близко залаяла собака. Отчаянно, точно на помощь звала. Нам было не до неё. Мы старались не слышать. Но как это было сделать, когда лай становился всё ближе и оглушительнее. Собака, очевидно, бежала по всей линии костров, не останавливаясь нигде.

Нас уже пригревало костром, у меня глаза слипались, и ни с того ни с сего я даже дома очутился за большим чайным столом, должно быть, засы-

пать начал, как вдруг лай послышался у меня над самыми ушами.

Ко мне подбежала — и вдруг прочь кинулась. И даже заворчала. Я так и понял, что не оправдал её доверия… К фельдфебелю сунулась, к самой голове его; тот поманил её. Она ему в мозолистую руку холодным носом ткнулась и неожиданно завизжала и заскулила, точно зажаловалась… «Неспроста это! — вырвалось у солдата. — Пёс умный… У него дело ко мне есть!..» Точно обрадовавшись, что её поняли, собака выпустила шинель и радостно-радостно залаяла, а там опять за полу: пойдём-де, пойдём скорее!

— Неужели вы пойдёте? — спросил я у фельдфебеля.

— Значит, надо! Пёс завсегда знает, что ему нужно… Эй, Барсуков, пойдём на случай чего.

Собака уже бежала впереди и только изредка оглядывалась.

…Должно быть, я долго спал, потому что в последние мгновения сознания в моей памяти как-то осталось — луна надо мною на высоте; а когда от внезапного шума я поднялся, она уже была позади, и торжественная глубина неба вся искрилась звёздами. «Клади, клади осторожнее! — слышалось приказание фельдфе-

беля. — Ближе к огню…»

Я подошёл. На земле у костра лежал не то свёрток, не то узел, напоминавший формою детское тело. Стали его распутывать, а фельдфебель рассказывал о том, что собака привела их на засыпанный склон горы. Там лежала замёрзшая женщина. Она бережно держала у самой груди какое-то сокровище, с чем бедной «беженке», как их тогда называли, всего тяжелее было расстаться или что она хотела во что бы то ни стало, хотя бы ценою собственной жизни, сохранить и отнять у смерти… Всё с себя сняла несчастная, чтобы для другого существа сберечь последнюю искру жизни, последнее тепло.

«Ребёночек? — толпились солдаты. — Ребёночек и есть!.. Вот послал на Рождество Господь… Это, братцы, к счастью».

Я дотронулся до его щёк — мягкие оказались, тёплые… Глаза его блаженно закрылись из-под овчины назло всей этой обстановке — боевым кострам, морозной балканской ночи, ружьям, составленным в козлы и тускло блиставшим штыками дальнему, десятками ущелий повторённому выстрелу. Перед нами покойное-покойное было детское личико, одною своею безмятежностью обессмысливавшее всю эту войну, всё это

истребление…

Барсуков разжевал было сухарь с сахаром, оказавшимся в чьём-то запасливом солдатском кармане, но старый фельдфебель остановил его:

— Внизу сёстры милосердия. У них для ребёночка и молочка найдётся. Дозвольте отлучиться, ваше высокоблагородие.

Капитан дозволил и письмо даже написал, что рота берёт находку на своё попечение.

Собаке очень понравилось у огня, она даже лапы вытянула и брюхом к небу обернулась. Но как только фельдфебель тронулся с места, она без сожаления бросила костёр и, ткнувшись мордой в руку Барсукова, со всех ног кинулась за ним. Старый солдат нёс дитя под шинелью бережно. Я знал, какой страшный путь прошли мы, и с невольным ужасом думал о том, что его ожидало: почти отвесные спуски, скользкие, обледеневшие скаты, тропки, едва державшиеся на рёбрах утёса… К утру он будет внизу, а там — сдал ребёнка и опять вверх, где рота уже построится и начнёт своё утомительное движение в долину. Я заикнулся об этом Барсукову, но тот ответил: «А Бог-то?» — «Что?» — не понял я сразу.

— А Бог-то, говорю?.. Нешто Он попустит?..

И Бог действительно помог старику… На другой

день он рассказывал: «Точно крылья несли меня. Там, где одному было жуть днём, а тут в туман спустился, ничего не вижу, а ноги сами идут и дитё ни разу не крикнуло!.. И сёстры как обрадовались: «Скажи капитану, что мы его выходим и собаку приютим!»

Но собака поступила совсем не так, как ожидали сёстры. Она осталась и в первые дни пристально следила, не спуская глаз с ребёнка и с них, как будто хотела убедиться, хорошо ли будет ему и заслуживают ли они её пёсьего доверия. А убедившись, что и без неё ребёнку будет хорошо, собака покинула госпиталь и на одном из перевалов появилась перед нами. Поприветствовав сначала капитана, потом фельдфебеля и Барсукова, она поместилась на правом фланге около фельдфебеля, и с тех пор это было её неизменным местом.

Солдаты её полюбили и прозвали «ротной Арапкой», хотя с арапкою у неё не было никакого сходства. Она была покрыта светло-рыжею шерстью, а голова казалась совсем белой. Тем не менее решив, что на мелочи обращать внимания не стоит, она стала и на имя «Арапки» отзываться весьма охотно. Арапка так Арапка. Не всё ли равно — лишь бы с хорошими людьми дело иметь.

Благодаря этому чудесному псу было спасено

много жизней. Она рыскала по всему полю после боёв и громким отрывистым лаем обозначала тех, кому ещё могла принести пользу наша помощь. Она не останавливалась над мёртвыми. Верный собачий инстинкт указывал ей, что вот тут под напухшими комьями грязи ещё бьётся сердце. Она живо дорывалась до раненого своими кривыми лапами и, подав голос, бежала к другим.

— Тебе бы, по-настоящему, медаль следовало дать, — ласкали её солдаты. Но животным, даже самым благородным, дают, к сожалению, медали за породу, а не за подвиги милосердия. Мы ограничились только тем, что заказали ей ошейник с надписью: «За Шипку и Хаскиой — верному товарищу»…

Много лет прошло с тех пор. Ехал я как-то по задонскому приволью. Русский простор охватывал меня отовсюду своими ласковыми зеленями, могучим дыханием неоглядных далей, неуловимою нежностью, что живописным источником пробивается сквозь его видимое уныние. Сумей подслушать его, найти, напейся его воскрешающей воды, и жива душа будет, и потёмки рассеются, и сомнению места не останется, и сердце, как цветок, откроется теплу и свету… И зло пройдёт, и добро останется во веки веков.

Вечерело… Мой ямщик добрался наконец до села и остановился на постоялом дворе. Мне не сиделось в душной, полной назойливых мух комнате, и я вышел на улицу. Вдали — крыльцо. На нём пёс растянулся — дряхлый-дряхлый… куцый. Подошёл. Господи! Старый товарищ — на ошейнике прочитал: «За Шипку и Хаскиой…» Арапка, милая! Но она не узнала меня. Я — в избу, дед сидит на лавке, мелюзга кругом шебаршит. «Батюшка, Сергей Ефимович, вы ли это?» — крикнул я. Вскинулся старый фельдфебель — разом узнал. О чём мы говорили, кому до того дело? Наше нам дорого, и на весь свет кричать об этом даже стыдно поди… Арапку мы позвали — едва доползла и у ног хозяина улеглась. «Помирать нам с тобой пора, ротный товарищ, — гладил её старик, — довольно пожили на покое». Собака подымала на него угасавшие глаза и повизгивала: «Пора-де, ох, давно пора».

— Ну, а что с ребёнком сталось, известно?

— Приезжала! — И дедушка радостно улыбнулся. — Отыскала меня, старика…

— Здесь?

— Да! Барыня совсем. И всё у неё по-хорошему. Меня приласкала — подарков навезла. Арапку в самую морду поцеловала. Просила её у меня. «У

нас, — говорит, — холить её станут…» Ну да нам-то не расстаться с ней. И она от тоски подохнет.

— А Арапка её узнала?

— Ну, где… Комочек ведь была она тогда… девчонка-то… Эх, брат Арапка, пора нам с тобою на вечное успокоение. Пожили, будет… А?

Арапка вздохнула.



Н. Лесков
Неразменный рубль



Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он всё-таки опять является целым в кармане. Но для того чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять чёрную

без одной отметины кошку и нести её продавать рождественскою ночью на перекрёсток четырёх дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Всё это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придёт кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, — ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, — то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, — он всё-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и нестаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно

добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава вторая

Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в Рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счёт, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далёком распутье и торговаться с ним за чёрную кошку; но зато их ждут и самые большие радости… Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники жёлтые, с патокою, и белые пряники — с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или ещё

проще «шмотья», бывают орехи простые и калёные; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

— Какое? — спросил я.

— А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснёшься, бабушка принесёт тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщённый этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня меня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в сво-

ём большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

— Ну, вот тебе беспереводный рубль, — сказала она. — Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдём к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, — совершенно один, — можешь идти на ярмарку и покупать всё, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

— Да, — говорю, — я уже всё это знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, — его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведётся в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведёшь хоть один грош на полную бесполезность — твой рубль в то же мгновение исчезнет.

— О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж

не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я её уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

— Прекрасно, — сказала бабушка, — но, однако, ты всё-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

— Очень рада, — посмотрим. Но ты всё-таки не будь самонадеян; помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

— В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублём, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

— О, моя милая бабушка, — отвечал я, — вам

и не будет надобности давать мне советы, — я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах всё, что мне нужно.

— В таком разе идём. — И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придёт к нему позже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Глава четвёртая

Погода была хорошая, — умеренный морозец с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнём и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и… я посмотрел на бабушку…

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей

бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да ещё мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целёхонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

— Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти ещё раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и… мой неразменный рубль был в моём кармане.

— Ага, — подумал я, — теперь я уже понял, в чём дело, и могу действовать смелее.

Глава пятая

Я подошёл к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, — мой неразменный рубль всё был на своём месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже преблагополучно оказался в моём кармане.

— Невесте идёт принарядиться, — сказала бабушка, — это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы её обрадовать, — от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прий-

тись по вкусу племенному телёнку, который жил в одной избе со скотницею. Телёнок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для неё новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман — мой рубль был снова на своём месте.

Я стал покупать шире и больше, — я брал всё, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные, — так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а весёлому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, всё был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал её выразительных взоров. Я сам был центр всего, — на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

— Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех

пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили — как я умён, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время, — откуда ни возьмись — ко мне подошёл самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

— Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить всё, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

— Да, если это будет вещь ненужная, — так я её, разумеется, не куплю.

— Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы всё покупали полезные вещи для других, но вот как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему

удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоём, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нём нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было всё, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

— Я ничего не вижу в этом хорошего, — сказал я моему новому спутнику.

— Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, — за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнём, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с её новою книжкою. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистуль-

ках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось всё это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

— Да, я это думаю, — отвечал пузан.

— Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! — воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: — Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

— Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

— Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

— Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, — вы не понимаете, в чём дело. Мой жилет ровно ничего не стоит,

потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нём стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится.

— Прекрасно, — отвечал я, — я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

— Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но… карман мой был пуст… Мой неразменный рубль уже не возвратился… он пропал… он исчез… его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и… проснулся…

Глава восьмая

Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, в её большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что всё виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чём

я плакал.

— Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, — особенно если ты захочешь понять его как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаённый смысл. Неразменный рубль — по-моему, это талант, который Провидение даёт человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутии четырёх дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чём для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Всё, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив — чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх тёплого полушубка — есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что — очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог ещё сделать, владея безрасходным рублём, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне

изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стекляшки, и — рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим всё то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

— Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами.

— Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но… если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то… я тебя понимаю…

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце моё исполнилось такой

радостью, какой я не испытывал до того ещё ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом — полное счастие, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своём нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдёт в словах моих не ложь, а истинную правду.



Ч. Диккенс
Рождественская песнь в прозе



Строфа первая

Святочный рассказ с привидениями

Начать с того, что Марли был мёртв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано

Скруджем. А уж если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес.

Итак, старик Марли был мёртв, как гвоздь в притолоке.

Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мёртв, более мёртв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мёртвому предмету изо всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить её, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить ещё и ещё раз: Марли был мёртв, как гвоздь в притолоке.

Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времён. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком,

который проводил его на кладбище. И всё же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки.

Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мёртв. Это нужно отчётливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался ещё задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным.

Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищённом от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу Св. Павла, преследуя при этом единственную цель — поразить и без того расстроенное воображение сына.

Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, ещё годы спустя: СКРУДЖ и МАРЛИ. Фирма была

хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда — Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично.

Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и твёрд, как кремень, и ещё никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий — он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на весёлых Святках.

Жара или стужа на дворе — Скруджа это беспо-

коило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем — они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома.

Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: «Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдёте меня проведать?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием, ни один ребёнок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: «Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом».

А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали,

что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко.

И вот однажды — и притом не когда-нибудь, а в самый Сочельник — старик Скрудж корпел у себя в конторе над счётными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же ещё туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперёд, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три часа, но становилось уже темно, да в тот день и с утра всё хмурилось, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах соседних контор, ложились багровыми мазками на тёмную завесу тумана — такую плотную, что казалось, её можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-седой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся всё ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику.

Скрудж держал дверь конторы приотворённой, дабы иметь возможность приглядывать за своим

клерком, который в тёмной маленькой каморке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше, — казалось, там тлеет один-единственный уголёк. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углём у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придётся ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу.

— С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на Святках! — раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола.

— Вздор! — проворчал Скрудж. — Чепуха!

Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щёки у него рдели — прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар.

— Это Святки — чепуха, дядюшка? — переспросил племянник. — Верно, я вас не понял!

— Слыхали! — сказал Скрудж. — Повеселиться на Святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты ещё недостаточно беден?

— В таком случае, — весело отозвался племянник, — по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы ещё недостаточно богаты?

На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил своё «вздор» и присовокупил ещё «чепуха!».

— Не ворчите, дядюшка, — сказал племянник.

— А что мне прикажешь делать, — возразил Скрудж, — ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Весёлые Святки! Весёлые Святки! Да провались ты со своими Святками! Что такое Святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пенни. Да будь моя воля, — негодующе продолжал Скрудж, — я бы

такого олуха, который бегает и кричит: «Весёлые Святки! Весёлые Святки!» — сварил бы живьём вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из остролиста.

— Дядюшка! — взмолился племянник.

— Племянник! — отрезал дядюшка. — Справляй свои Святки как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему.

— Справлять! — воскликнул племянник. — Так вы же их никак не справляете!

— Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих Святок! Много проку тебе от них будет!

— Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, — отвечал племянник. — Вот хотя бы и рождественские праздники. Но всё равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни — дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всём календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних — даже в неимущих и обездоленных — таких же

людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не какие-то существа иной породы, которым подобает идти другим путём. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на Святках у меня ещё ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует Рождество!

Клерк в своём закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав всё неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру…

— Эй вы! — сказал Скрудж. — Ещё один звук, и вы отпразднуете ваши Святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, — обратился он к племяннику, — вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте.

— Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас.

Скрудж отвечал, что скорее он наведается к… Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил ещё несколько крепких словечек.

— Да почему же? — вскричал племянник. — Почему?

— А почему ты женился? — спросил Скрудж.

— Влюбился, вот почему.

— Влюбился! — проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал ещё одну отчаянную нелепость вроде «весёлых Святок». — Ну, честь имею!

— Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями, зачем же теперь сваливаете всё на мою женитьбу?

— Честь имею! — повторил Скрудж.

— Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями?

— Честь имею! — сказал Скрудж.

— Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И всё-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам весёлого Рождества, дядюшка.

— Честь имею! — сказал Скрудж.

— И счастливого Нового года!

— Честь имею! — повторил Скрудж.

И всё же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие.

— Вот ещё один умалишённый! — пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. — Какой-то жалкий писец, с жалованьем в пятнадцать шиллингов, обременённый женой и детьми, а туда же — толкует о весёлых Святках! От таких впору хоть в Бедлам сбежать!

А бедный умалишённый тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности, в руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу.

— Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? — спросил один из них, сверившись с каким-то списком. — Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли?

— Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище, — отвечал Скрудж. — Он умер в Сочельник, ровно семь лет назад.

— В таком случае мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, — произнёс один из джентльменов, предъявляя свои документы.

И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души.

Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги.

— В эти праздничные дни, мистер Скрудж, — продолжал посетитель, беря с конторки перо, — более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и обездоленных, кои особенно страждут в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой.

— Разве у нас нет острогов? — спросил Скрудж.

— Острогов? Сколько угодно, — отвечал посетитель, кладя обратно перо.

— А работные дома? — продолжал Скрудж. — Они действуют по-прежнему?

— К сожалению, по-прежнему. Хотя, — заметил посетитель, — я был бы рад сообщить, что их прикрыли.

— Значит, и принудительные работы существуют, и закон о бедных остаётся в силе?

— Ни то ни другое не отменено.

— А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся.

— Будучи убеждён в том, что все эти законы и

учреждения ничего не дают ни душе, ни телу, — возразил посетитель, — мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и тёплой одежды. Мы избрали для этой цели Сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие даёт особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени?

— Никакой.

— Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени?

— Я хочу, чтобы меня оставили в покое, — отрезал Скрудж. — Поскольку вы, джентльмены, пожелали узнать, чего я хочу, — вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недёшево. Нуждающиеся могут обращаться туда.

— Не все это могут, а иные и не хотят — скорее умрут.

— Если они предпочитают умирать, тем лучше, — сказал Скрудж. — Это сократит излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует.

— Это должно бы вас интересовать.

— Меня всё это совершенно не касается, — сказал Скрудж. — Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены!

Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно весёлом для него настроении.

Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги — бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз всё крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили с пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми,

понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленные и курятные лавки были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд-мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает, и даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежали покупать говядину.

Всё гуще туман, всё крепче мороз! Лютый, пронизывающий холод! Если бы святой Дунстан вместо раскалённых щипцов хватил сатану за нос этаким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка!

Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая прославить Рождество, но при первых же звуках святочного гимна:

«Да пошлёт вам радость Бог. Пусть ничто вас не печалит…»

Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и ещё более близкого ему по духу мороза.

Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу.

— Вы небось завтра вовсе не намерены являться на работу? — спросил Скрудж.

— Если только это вполне удобно, сэр.

— Это совсем неудобно, — сказал Скрудж, — и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?

Клерк выдавил некоторое подобие улыбки.

— Однако, — продолжал Скрудж, — вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалованье даром.

Клерк заметил, что это бывает один раз в году.

— Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман, — произнёс Скрудж, застёгивая пальто на все пуговицы. — Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше.

Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать — дабы воздать дань Сочельнику — по ледяному склону Корнхилла вместе с оравой мальчишек (концы его белого шарфа так и развевались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто), припустился со всех ног домой в Кемден-Таун — играть со своими ребятишками в жмурки.

Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходо-расходной книгой,

отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону.

Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и, кроме Скруджа, в нём никто не жил, а все остальные помещения сдавались внаём под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принуждён был пробираться ощупью, а в чёрной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погружённый в тяжёлое раздумье.

И вот. Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остаётся и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомне-

нию и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а, пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже (а это сильно сказано!) городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить ещё, что Скрудж, упомянув днём о своём компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли.

Лицо Марли. Оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того — излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в тёмном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом

лица внушало ужас. И всё же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его.

Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток.

Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражён и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошёл в дом и зажёг свечу.

Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за неё, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав: «Тьфу ты, пропасть!» — Скрудж с треском захлопнул дверь.

Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу.

Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестернёй и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперёк, оглоблями — к стене, дверцами — к перилам, и тогда на лестнице осталось бы ещё достаточно свободного места.

Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак.

Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Всё же, прежде чем захлопнуть за собой тяжёлую дверь своей квартиры, Скрудж прошёлся по комнатам, чтобы удостовериться, что всё в порядке. И не удивительно — лицо покойного Марли всё ещё стояло у него перед глазами.

Гостиная, спальня, кладовая. Везде всё как следует быть. Под столом — никого, под диваном — никого, в камине тлеет скупой огонёк, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) — на полочке в очаге. Под кроватью — никого, в шкафу — никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, — тоже никого. В кладовой всё на месте: ржавые каминные решётки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трёхногий умывальник и кочерга.

Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру — запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки.

Огонь в очаге еле теплился — мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решётке и низко нагнуться над огнём, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом

и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из Священного Писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, — словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет — лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка, и заслонило всё остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчётливо выступала голова Марли — так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, но зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу.

— Чепуха! — проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был, с какой-то никому не ведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединён с одним из помещений верхнего

этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еле заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме.

Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, — все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа — словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжёлую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что, когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи.

Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься ещё явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа.

— Всё равно вздор! — молвил Скрудж. — Не верю я в привидения.

Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем.

И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: «Я узнаю его! Это — дух Марли!» — и снова померкло.

Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично её рассмотрел) из ключей, висячих замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжёлых кошельков с железными застёжками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчётливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке.

Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил.

Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчётливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана

голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И всё же он не хотел верить своим глазам.

— Что это значит? — произнёс Скрудж язвительно и холодно, как всегда. — Что вам от меня надобно?

— Очень многое. — Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли.

— Кто вы такой?

— Спроси лучше, кем я был?

— Кем же вы были в таком случае? — спросил Скрудж, повысив голос. — Для привидения вы слишком приве… разборчивы. — Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.

— При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли.

— Не хотите ли вы… Не можете ли вы присесть? — спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа.

— Могу.

— Так сядьте.

Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяс-

нениях. Но призрак как ни в чём не бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело.

— Ты не веришь в меня, — заметил призрак.

— Нет, не верю, — сказал Скрудж.

— Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя?

— Не знаю.

— Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?

— Потому что любой пустяк воздействует на них, — сказал Скрудж. — Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почём я знаю!

Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах.

Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза, — нет, чёрт побери, Скрудж

чувствовал, что он этой пытки не вынесет! И кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака.

Не то чтоб Скрудж сам её ощущал, но он ясно видел, что призрак принёс её с собой, ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах всё время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи.

— Видите вы эту зубочистку? — спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака.

— Вижу, — промолвило привидение.

— Да вы же не смотрите на неё, — сказал Скрудж.

— Не смотрю, но вижу, — был ответ.

— Так вот, — молвил Скрудж. — Достаточно мне её проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, всё это вздор! Вздор и вздор!

При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было

ещё ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок (можно было подумать, что ему стало жарко!) и у него отвалилась челюсть.

Заломив руки, Скрудж упал на колени.

— Пощади! — взмолился он. — Ужасное видение, зачем ты мучаешь меня!

— Суетный ум! — отвечал призрак. — Веришь ты теперь в меня или нет?

— Верю, — воскликнул Скрудж. — Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле и зачем ты явился мне?

— Душа, заключённая в каждом человеке, — возразил призрак, — должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречён мыкаться после смерти. Он осуждён колесить по свету и — о, горе мне! — взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы — себе и другим на радость.

И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки.

— Ты в цепях? — пролепетал Скрудж, дрожа. — Скажи мне — почему?

— Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни, — отвечал призрак. — Я ковал её звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле её ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?

Скруджа всё сильнее пробирала дрожь.

— Быть может, — продолжал призрак, — тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий Сочельник семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надёжная, увесистая цепь!

Скрудж глянул себе на ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов ста длиной, но ничего не увидел.

— Джейкоб! — взмолился он. — Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чём-нибудь другом! Утешь, успокой меня, Джейкоб!

— Я не приношу утешения, Эбинизер Скрудж! — отвечал призрак. — Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его — и людям другого сорта. И открыть тебе всё то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей

конторы, — слышишь ли ты меня! — никогда не блуждал за стенами этой норы — нашей меняльной лавки, — и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь.

Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз.

— Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб, — почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж.

— Не спеша! — фыркнул призрак.

— Семь лет как ты мертвец, — размышлял Скрудж. — И всё время в пути!

— Всё время, — повторил призрак. — И ни минуты отдыха, ни минуты покоя. Непрестанные угрызения совести.

— И быстро ты передвигаешься? — поинтересовался Скрудж.

— На крыльях ветра, — отвечал призрак.

— За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние, — сказал Скрудж.

Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мёртвое безмолвие ночи, что

постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка.

— О раб своих пороков и страстей! — вскричало привидение. — Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится всё добро, которому надлежит восторжествовать на земле! Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдёт свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал! Не знал!

— Но ты же всегда хорошо вёл свои дела, Джейкоб, — пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе.

— Дела! — вскричал призрак, снова заламывая руки. — Забота о ближнем — вот что должно было стать моим делом. Общественное благо — вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость — вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятия коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном

океане предначертанных мне дел.

И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол.

— В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно, — промолвило привидение. — О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову! Ведь сияние её могло бы указать и мне путь к хижине бедняка.

У Скруджа уже зуб на зуб не попадал — он был чрезвычайно напуган тем, что призрак всё больше и больше приходит в волнение.

— Внемли мне! — вскричал призрак. — Моё время истекает.

— Я внемлю, — сказал Скрудж, — но пожалей меня, Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще!

— Как случилось, что я предстал пред тобой в облике, доступном твоему зрению, — я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днём.

Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло как в лихорадке, и он отёр выступивший на лбу холодный пот.

— И поверь мне, это была не лёгкая часть моего искуса, — продолжал призрак. — И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя ещё не всё потеряно. Ты ещё можешь избежать моей участи, Эбинизер, ибо я похлопотал за тебя.

— Ты всегда был мне другом, — сказал Скрудж. — Благодарю тебя.

— Тебя посетят, — продолжал призрак, — ещё три Духа.

Теперь и у Скруджа отвисла челюсть.

— Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб, не в этом ли моя надежда? — спросил он упавшим голосом.

— В этом.

— Тогда… тогда, может, лучше не надо? — сказал Скрудж.

— Если эти Духи не явятся тебе, ты пойдёшь по моим стопам, — сказал призрак. — Итак, ожидай первого Духа завтра, как только пробьёт Час Пополуночи.

— А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? — робко спросил Скрудж. — Чтобы уж поскорее с этим покончить?

— Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего — на третьи сутки в полночь, с последним ударом часов. А со мной

тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твёрдо всё, что произошло с тобой сегодня.

Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подыматься. С каждым его шагом она подымалась всё выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто.

Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился.

Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки: смутные и бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с

минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землёй, растаял во мраке морозной ночи за окном.

Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу.

Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощённого цепью, но некоторых (как видно, членов некоего дурного правительства) сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишён возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний.

Туман ли поглотил призраков, или они сами превратились в туман — Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные

голоса, и опять ночь была как ночь, и всё стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой.

Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, — ведь он сам её запер, — и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха!», но осёкся на первом же слоге. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а быть может, и от соприкосновения с Потусторонним Миром или, наконец, просто оттого, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул как убитый.

Строфа вторая

Первый из трёх Духов

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо чёрных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак — зрение у него было острое, как у хорька, — и

в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался.

К его изумлению, часы гулко пробили шесть ударов, затем семь, восемь… — и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь! А он лёг спать в третьем часу ночи! Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь!

Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и чётко отзвонил двенадцать раз.

— Что такое? Быть того не может! — произнёс Скрудж. — Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки! А может, что-нибудь случилось с солнцем и сейчас не полночь, а полдень?

Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндевело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе всё такой же густой туман и такой же лютый мороз и очень тихо и безлюдно — никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это бы-

ло уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо, если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула: «…спустя три дня по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Эбинизеру Скруджу или его приказу…» — не имела бы ровно никакого смысла.

Скрудж снова улёгся в постель и стал думать, думать, думать, и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал.

Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он, по зрелом размышлении, решал, что всё это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос: «Сон это или явь?» — снова вставал перед ним и требовал разрешения.

Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили ещё три четверти, и тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака — когда часы пробьют час, к нему явится ещё один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьёт урочный

час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым.

Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар.

— Динь-дон!

— Четверть первого, — принялся отсчитывать Скрудж.

— Динь-дон!

— Половина первого! — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Без четверти час, — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Час ночи! — воскликнул Скрудж, торжествуя. — И всё! И никого нет!

Он произнёс это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал: густой, гулкий, заунывный звон — ЧАС. В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полог кровати.

Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати, и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог

кровати был отброшен, и Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдёрнула полог. Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель.

Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребёнка, но ещё более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребёнка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги — обнажённые так же, как и руки, — поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зелёную ветку остролиста, а подол его одеяния, в странном несоответствии с этой святочной эмблемой зимы, был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх и

освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой Призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться.

Впрочем, как заметил Скрудж, ещё пристальней вглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью. Ибо, подобно тому как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчётливость очертаний, и Призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами зараз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, то терял все конечности вместе с туловищем и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и Привидение как ни в чём не бывало приобретало свой прежний вид.

— Кто вы, сэр? — спросил Скрудж. — Не тот ли вы Дух, появление которого было мне пред-

сказано?

— Да, это я.

Голос Духа звучал мягко, даже нежно и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя Дух стоял рядом.

— Кто вы или что вы такое? — спросил Скрудж.

— Я — Святочный Дух Прошлых Лет.

— Каких прошлых? Очень давних? — осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику.

— Нет, на твоей памяти.

Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не мог бы объяснить, если бы это потребовалось, но так или иначе он попросил Привидение надеть колпак.

— Как! — вскричал Дух. — Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты — один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить её, надвинув на самые глаза!

Скрудж как можно почтительнее заверил Духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть и, насколько ему известно, никогда и ни

при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело Духа к нему.

— Забота о твоём благе, — ответствовал Дух.

Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам — вот это было бы благо. Как видно, Дух услышал его мысли, так как тотчас сказал:

— О твоём спасении, в таком случае. Берегись!

С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть.

— Встань! И следуй за мной!

Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище — много ниже нуля, что он одет очень легко — халат, колпак и ночные туфли, — а у него и без того уже насморк… но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако заметив, что Дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние.

— Я простой смертный, — взмолился Скрудж, — я могу упасть.

— Дай мне коснуться твоей груди, — сказал Дух, кладя руку ему на сердце. — Это поддержит тебя,

и ты преодолеешь и не такие препятствия.

С этими словами он прошёл сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной просёлочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак, и туман. Был холодный, ясный зимний день, и снег устилал землю.

— Боже милостивый! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. — Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!

Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его лёгкое прикосновение, сколь ни было оно мимолётно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячью запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах.

— Твои губы дрожат, — сказал Дух. — А что это катится у тебя по щеке?

Скрудж срывающимся голосом — вещь для него совсем необычная — пробормотал, что это так, пустяки, и попросил Духа вести его дальше.

— Узнаёшь ли ты эту дорогу? — спросил Дух.

— Узнаю ли я? — с жаром воскликнул Скрудж. — Да я бы прошёл по ней с закрытыми глазами.

— Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней! — заметил Дух. — Идём дальше.

Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошадёнках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой весёлый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью.

— Всё это лишь тени тех, кто жил когда-то, — сказал Дух. — И они не подозревают о нашем присутствии.

Весёлые путники были уже совсем близко, и по мере того как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрёстках и разъезжаясь

по домам, они желают друг другу весёлых Святок? Что Скруджу до весёлых Святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок?

— А школа ещё не совсем опустела, — сказал Дух. — Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинёшенек.

Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул.

Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стёкла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме.

Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую; и, заглядывая то в одну, то в другую растворённую дверь, они увидели огромные холодные и почти пустые комнаты. В доме было сыро, как в склепе, и пахло землёй, и что-то

говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта.

Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж — за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло голыми стенами, казавшаяся ещё более унылой оттого, что в ней рядами стояли простые некрашеные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина, и Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребёнке самого себя, каким он был когда-то. Всё здесь: писк и возня мышей за деревянными панелями, и доносившееся откуда-то из недр дома эхо, и звук капели из оттаявшего жёлоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине — всё находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам.

Дух тронул его за плечо и указал на его двойника — погружённого в чтение ребёнка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии, с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед

ними как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами.

— Да это же Али-Баба! — не помня себя от восторга, вскричал Скрудж. — Это мой дорогой, старый, честный Али-Баба! Да, да, я знаю! Как-то раз на Святках, когда этот заброшенный ребёнок остался здесь один, позабытый всеми, Али-Баба явился ему. Да, да, взаправду явился, вот как сейчас! Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин и его лесной брат Орсон — вот они, вот! А этот, как его, ну тот, кого положили, пока он спал, в исподнем у ворот Дамаска, — разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джинны перевернули вверх ногами! Вон он — стоит на голове! Поделом ему! Я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе!

То-то были бы поражены все коммерсанты лондонского Сити, с которыми Скрудж вёл дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьёзностью несёт такой вздор, да ещё не то плачет, не то смеётся самым диковинным образом!

— А вот и попугай! — восклицал Скрудж. — Сам зелёный, хвостик жёлтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата. Вот он! «Бедный Робинзон Крузо, — сказал он своему хозяину, когда тот

возвратился домой, проплыв вокруг острова. — Бедный Робинзон Крузо! Где ты был, Робинзон Крузо?» Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало — это говорил попугай, вы же знаете. А вон и Пятница — мчится со всех ног к бухте! Ну же! ну! Скорей! — и тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя: — Бедный, бедный мальчуган! — снова заплакал. — Как бы я хотел… — пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: — Нет, теперь уж поздно.

— А чего бы ты хотел? — спросил его Дух.

— Да ничего, — ответил Скрудж. — Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и всё.

Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал:

— Поглядим на другое Рождество.

При этих словах Скрудж-ребёнок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала ещё темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, окон-

ные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так всё и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать весёлый праздник.

Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол.

Тут Скрудж взглянул на Духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь.

Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем.

— Я приехала за тобой, дорогой братец! — говорила малютка, всплёскивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. — Ты поедешь со мной домой! Домой! Домой!

— Домой, малютка Фэн? — переспросил мальчик.

— Ну да! — воскликнуло дитя, сияя от сча-

стья. — Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась — взяла и попросила его ещё раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: «Да, пускай приедет», — и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной, — продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами, — и никогда больше не вернёшься сюда. Мы проведём вместе все Святки, и как же мы будем веселиться!

— Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн! — воскликнул мальчик.

Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней.

Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую:

— Тащите вниз сундучок ученика Скруджа! — И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруд-

жа свирепо-снисходительным взглядом и пожал его руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повёл обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно лёгкого вина и кусок необыкновенно тяжёлого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик «того самого», на что почтальон отвечал, что он благодарит хозяина, но если это «то самое», чем его уже раз потчевали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружён на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатили со двора. Быстро замелькали спицы колёс, сбивая снег с тёмной листвы вечнозелёных растений.

— Хрупкое создание! — сказал Дух. — Казалось, самое лёгкое дуновение ветерка может её погубить. Но у неё было большое сердце.

— О да! — вскричал Скрудж. — Ты прав, Дух, и не мне это отрицать, Боже упаси!

— Она умерла уже замужней женщиной, — ска-

зал Дух. — И помнится, после неё остались дети.

— Один сын, — поправил Скрудж.

— Верно, — сказал Дух. — Твой племянник.

Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул:

— Да.

Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок и карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчеи. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили Святки. Но на этот раз был уже вечер и на улицах горели фонари.

Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнаёт ли он это здание.

— Ещё бы! — воскликнул Скрудж. — Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение!

Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она ещё хоть на два дюйма выше, голова его упёрлась бы в потолок, Скрудж в неописуемом волнении воскликнул:

— Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физзиуиг, живёхонек!

Старый Физзиуиг отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потёр руки, обдёрнул жилетку на объёмистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей, — и закричал приятным, густым, весёлым, зычным басом:

— Эй, вы! Эбинизер! Дик!

И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика.

— Да ведь это Дик Уилкинс! — сказал Скрудж, обращаясь к Духу. — Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан.

— Бросай работу, ребята! — сказал Физзиуиг. — На сегодня хватит. Ведь нынче Сочельник, Дик! Завтра Рождество, Эбинизер! Ну-ка мигом запирайте ставни! — крикнул он, хлопая в ладоши. — Живо, живо! Марш!

Вы бы видели, как они взялись за дело! Раз, два, три — они уже выскочили на улицу со ставнями в руках; четыре, пять, шесть — подставили ставни на место; семь, восемь, девять — задвинули и закрепили болты и, прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати, уже влетели обратно,

дыша, как призовые скакуны у финиша.

— Ого-го-го-го! — закричал старый Физзиуиг, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. — Тащите всё прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места. Шевелись, Дик! Веселей, Эбинизер!

Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они не оттащили прочь, с благословения старика. В одну минуту всё было закончено. Всё, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещённый бальный зал, какого можно только пожелать для танцев в зимний вечер.

Пришёл скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижёрский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физзиуиг — сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физзиуиг — цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины

и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом — булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата — молочником. Пришёл мальчишка-подмастерье из лавки насупротив, насчёт которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка всё время пытался спрятаться за девчонку — служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерёт её за уши. Словом, пришли все, один за другим, — кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто сталкивая других, кто таща кого-то за собой, — словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс — все двадцать пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую. И пара за парой — на середину комнаты и обратно. И закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала — и всякий раз раньше, чем следовало, — пока наконец все пары не стали головными и всё не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый Физзиуиг захлопал в ладоши,

чтобы приостановить танец, и закричал:

— Славно сплясали! — И в ту же секунду скрипач погрузил разгорячённое лицо в заранее припасённую кружку с пивом. Но, будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал, и притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобморочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть.

А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач (до чего же ловок, пёс его возьми! Да, не нам с вами его учить, этот знал своё дело!) заиграл старинный контрданс «Сэр Роджер Каверли» и старый Физзиуиг встал и предложил руку миссис Физзиуиг. Они пошли в первой паре, разумеется, и им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше, и все — лихие танцоры, все — такой народ, что шутить

не любят и уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток!

Но будь их хоть пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар — старый Физзиуиг и тут бы не сплошал, да и миссис Физзиуиг тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу — она достойна и этой. От икр мистера Физзиуига положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Физзиуиг и миссис Физзиуиг проделали все фигуры танца, как положено, — и бегом вперёд, и бегом назад, и, взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились наконец на своё место, — старик Физзиуиг подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками — да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам, — и тут же сразу стал как вкопанный.

Когда часы пробили одиннадцать, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физзиуиг, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей весёлых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева

таким же манером распрощались и с учениками. И вот весёлые голоса замерли вдали, двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина.

Пока длился бал, Скрудж вёл себя как умалишённый. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всём, что происходило, всё припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о Духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко.

— Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, — заметил Дух.

— Немного? — удивился Скрудж.

Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физзиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал:

— Ну что? Разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу — всего три-четыре фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?

— Да не в этом суть, — возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. — Не в этом суть, Дух. Ведь от Физзиуига зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд — лёгким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить, — всё равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. — Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд Духа и запнулся.

— Что же ты умолк? — спросил его Дух.

— Так, ничего, — отвечал Скрудж.

— Ну а всё-таки? — настаивал Дух.

— Пустое, — сказал Скрудж, — пустое. Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку. Вот и всё.

Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с Духом опять стояли под открытым небом.

— Моё время истекает, — заметил Дух. — Поспеши!

Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас

произвели своё действие, Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше — в расцвете лет. Черты лица его ещё не стали столь резки и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе и что станет с ним, когда она вырастет и чёрная её тень поглотит его целиком.

Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на её ресницах сверкали в лучах исходившего от Духа сияния.

— Ах, всё это так мало значит для тебя теперь, — говорила она тихо. — Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться.

— Что это за божество, которое вытеснило тебя? — спросил Скрудж.

— Деньги.

— Нет справедливости на Земле! — молвил Скрудж. — Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не менее сурово — на словах, во всяком случае, — осуждает погоню за богатством.

— Ты слишком трепещешь перед мнением света, — кротко укорила она его. — Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной — стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим и новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком!

— Ну и что же? — возразил он. — Что плохого, даже если я и поумнел наконец? Моё отношение к тебе не изменилось.

Она покачала головой.

— Разве не так?

— Наша помолвка — дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным.

— Я был мальчишкой, — нетерпеливо отвечал он.

— Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь, — возразила она. — А я всё та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью

размышляла я над этим. Да, я много думала и решила вернуть тебе свободу.

— Разве я когда-нибудь просил об этом?

— На словах — нет. Никогда.

— А каким же ещё способом?

— Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. И это сделало мою любовь ненужной для тебя.

Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся, — сказала девушка, кротко, но вместе с тем пристально и твёрдо глядя ему в глаза, — если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? О нет!

Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов. Но всё же, сделав над собой усилие, ответил:

— Это только ты так думаешь.

— Видит Бог, я была бы рада думать иначе! — отвечала она. — Уж если я должна была наконец признать эту горькую истину — значит, как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жёны бесприданницу! Это ты-то! Да ведь, даже изливая мне свою душу,

ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован корыстью! Да если бы даже ты на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление! Нет, я понимаю всё. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле — во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то.

Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворотясь от него:

— Быть может… Когда я вспоминаю прошлое, я верю в это… Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдёт, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал! — С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда.

— Дух! — вскричал Скрудж. — Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня!

— Ты увидишь ещё одну тень Прошлого, — сказал Дух.

— Ни единой, — крикнул Скрудж. — Ни единой.

Я не желаю её видеть! Не показывай мне больше ничего!

Но неумолимый Дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше.

Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и небогатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко, по-зимнему, пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было её за свою только что скрывшуюся подружку — так они были похожи, — но тотчас же увидал и ту. Теперь это была женщина средних лет, всё ещё приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своём взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении, где сорок коровок вели себя как одна, здесь каждый ребёнок шумел как добрых сорок, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, а последняя вскоре и сама

приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормошить её.

Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был так груб, о нет, нет! Ни за какие сокровища не посмел бы я дёрнуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с её ножки — Господи, спаси нас и помилуй! — бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить её за талию! Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг её стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказание за такую дерзость.

Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться её губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне! Любоваться её опущенными ресницами, не вызывая краски на её щеках! Распустить её шелковистые волосы, каждая прядка которых — бесценное сокровище! Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребёнка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену.

Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились

к дверям, что молодая девушка — с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье — оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел ступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в обёрточной бумаге; его душили, обхватив за шею; на нём повисали, уцепившись за галстук; его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъявляя этим самую нежную к нему любовь! А крики изумления и восторга, которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета! А неописуемый ужас, овладевший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления — с игрушечной сковородкой, засунутой в рот, — и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке! А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной! Всё это просто не поддаётся описанию! Скажем только, что один за другим все ребятишки — а вместе с ними и шумные изъ-

явления их чувств — были удалены из гостиной наверх и водворены в постели, где мало-помалу и угомонились.

Теперь Скрудж устремил всё своё внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувшей к его плечу дочерью занял своё место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет!

— Бэлл, — сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, — а я видел сегодня твоего старинного приятеля.

— Кого же это?

— Угадай!

— Как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь! — воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. — Мистера Скруджа?

— Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставен, так что я при всём желании не мог не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя один-одинёшенек. Один как перст на всём белом свете.

— Дух! — произнёс Скрудж надломленным

голосом. — Уведи меня отсюда.

— Я ведь говорил тебе, что всё это — тени минувшего, — отвечал Дух. — Так оно было, и не моя в том вина.

— Уведи меня! — взмолился Скрудж. — Я не могу это вынести.

Он повернулся к Духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя, Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться.

— Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня!

Борясь с Духом — если это можно назвать борьбой, ибо Дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, — Скрудж увидел, что сноп света у Духа над головой разгорается всё ярче и ярче. Безотчётно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил Духу на голову.

Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове Духа, ему не

удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю.

Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он что было мочи на колпак-гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мёртвым сном.

Строфа третья

Второй из трёх Духов

Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют Час Пополуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым Духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдёрнется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам, своими руками, отбросить обе половинки полога, после чего улёгся обратно на подушки и

окинул зорким взглядом комнату. Он твёрдо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать и первый окликнет Духа.

Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам чёрт не брат и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на всё — от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен всё же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами и появление любых призраков — от грудных младенцев до носорогов — не могло бы его теперь удивить.

Однако, будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло как в лихорадке. Прошло ещё пять минут, десять, пятнадцать — ничего. Однако всё это время Скрудж, лёжа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое, лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всего-навсего сияние и

Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишён при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал всё же — как вы или я подумали бы, без сомнения, с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать, и доведись ему, именно так бы, разумеется, и поступил, — итак, повторяю, Скрудж подумал всё же наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался.

Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие

блестящие ягоды весело проглядывали в зелёной листве. Свежие твёрдые листья остролиста, омелы и плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешанные на ветвях, а в камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли и одну долгую зиму за другой холодала без огня. На полу огромной грудой, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринуждённо и величаво восседал такой весёлый и сияющий Великан, что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа, когда тот просунул голову в дверь.

— Войди! — крикнул Скруджу Призрак. — Войди, и будем знакомы, старина!

Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову, перед Призраком. Скрудж был уже не прежний, угрюмый, суровый старик, не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор Призрака.

— Я Дух Нынешних Святок, — сказал Призрак. — Взгляни на меня!

Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простой тёмно-зелёный балахон или мантию, отороченную белым мехом. Одеяние это свободно и небрежно спадало с его плеч, и широкая грудь великана была обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких искусственных покровах и защите. Ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были босы, и на голове у Призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из остролиста, на котором сверкали кое-где льдинки. Длинные тёмно-каштановые кудри рассыпались по плечам, доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело, и всё — и жизнерадостный вид, и свободное обхождение, и приветливо протянутая рука, — всё в нём было приятно и непринуждённо. На поясе у Духа висели старинные ножны, но — пустые, без меча, да и сами ножны были порядком изъедены ржавчиной.

— Ты ведь никогда ещё не видал таких, как я! — воскликнул Дух.

— Никогда, — отвечал Скрудж.

— Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я — самый младший? Я хочу сказать — с теми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы? — продолжал допрашивать Призрак.

— Как будто нет, — сказал Скрудж. — Боюсь, что нет. А у тебя много братьев, Дух?

— Свыше тысячи восьмисот, — отвечал Дух.

— Вот так семейка! Изволь-ка её прокормить! — пробормотал Скрудж.

Святочный Дух встал.

— Дух, — сказал Скрудж смиренно. — Веди меня куда хочешь. Прошлую ночь я шёл по принуждению и получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу.

— Коснись моей мантии.

Скрудж сделал, как ему было приказано, да уцепился за мантию покрепче.

Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные окорока, говяжьи туши, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пуншем — всё

исчезло в мгновение ока. А с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже Дух и Скрудж стояли на городской улице.

Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немного резкая, но приятная, — счищали снег с тротуаров и сгребали его с крыш, к безумному восторгу мальчишек, смотревших, как, рассыпаясь мельчайшей пылью, рушатся на землю снежные лавины.

На фоне ослепительно-белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного — лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна — и того сумрачнее и темнее. Тяжёлые колёса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрёстках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом жёлтом крошеве талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не то на пар и оседавшей на землю тёмной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом — и ну дымить кто во что горазд! Словом, ни сам город, ни климат

не располагали особенно к веселью, и тем не менее на улицах было весело — так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, когда солнце светит так ярко и воздух так свеж и чист.

А причина этого таилась в том, что люди, сгребавшие снег с крыш, полны были бодрости и веселья. Они задорно перекликались друг с другом, а порой и запускали в соседа снежком — куда менее опасным снарядом, чем те, что слетают подчас с языка, — и весело хохотали, если снаряд попадал в цель, и ещё веселее — если он летел мимо. В курятных лавках двери были ещё наполовину открыты, а прилавки фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облачённые в жилеты животы весёлых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные, смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щёки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок пробегавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчи-

востью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку омелы. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были гроздья винограда, развешанные тороватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов — коричневых, чуть подёрнутых пушком, — чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печёные яблоки, пухлые, глянцевито-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов и всем своим аппетитным видом настойчиво и пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Даже золотые и серебряные рыбки, плававшие в большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия, — даже эти хладнокровные натуры понимали, казалось, что происходит нечто необычное, и, беззвучно разевая рты, все как одна в каком-то бесстрастном экстазе описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка.

А бакалейщики! О, у бакалейщиков всего од-

на или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда! И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечёвка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглёра, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, изюму было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно-бел, а палочки корицы — такие прямые и длинненькие, все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой! И мало того, что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок и всё, решительно всё выглядело так вкусно и так нарядно в своём рождественском уборе… Самое главное заключалось всё же в том, что, невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натыкались друг на друга в дверях

— их плетёные корзинки только трещали, — и забывали покупки на прилавке, и опрометью бросались за ними обратно, и совершали ещё сотню подобных промахов, — невзирая на это, все в предвкушении радостного дня находились в самом праздничном, самом отличном расположении духа, а хозяин и приказчики имели такой добродушный, приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристёгнуты тесёмки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественским галкам, дабы те могли поклевать их на Святках.

Но вот заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм Божий, и весёлая, празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу: это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни. Вид этих бедных людей, собравшихся попировать, должно быть, очень заинтересовал Духа, ибо он остановился вместе со Скруджем в дверях пекарни и, приподымая крышки с проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И видно, это был совсем

необычный светильник, так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как Дух кропил из своего светильника спорщиков, и к ним тотчас возвращалось благодушие. Стыдно, говорили они, ссориться в первый день Рождества. И верно, ещё бы не стыдно!

В положенное время колокольный звон утих и двери пекарен закрылись, но на тротуарах против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шёл такой пар, словно каменные плиты тротуаров тоже варились или парились, и всё это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь.

— Чем это ты на них покропил? — спросил Скрудж Духа. — Может, это придаёт какой-то особенный аромат кушаньям?

— Да, особенный.

— А ко всякому ли обеду он подойдёт?

— К каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно — к обеду бедняка.

— Почему к обеду бедняка особенно?

— Потому что там он нужней всего.

— Дух, — сказал Скрудж после минутного раздумья, — дивлюсь я тому, что именно ты, из всех существ, являющихся к нам из разных потусто-

ронних сфер, именно ты, Святочный Дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствиям.

— Я? — вскричал Дух.

— Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели — а у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?

— Я этого хочу? — повторил Дух.

— Ты же хлопочешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни, — сказал Скрудж. — А это то же самое.

— Я хлопочу? — снова возмутился Дух.

— Ну, прости, если я ошибся, но это делается твоим именем или, во всяком случае, от имени твоей родни, — сказал Скрудж.

— Тут, на вашей грешной земле, — сказал Дух, — есть немало людей, которые кичатся своей близостью к нам и, побуждаемые ненавистью, завистью, гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят свои дурные дела, прикрываясь нашим именем. Но эти люди столь же чужды нам, как если бы они никогда и не рождались на свет. Запомни это и вини в их поступках только их самих, а не нас.

Скрудж пообещал, что так он и будет поступать

впредь, и они, по-прежнему невидимые, перенеслись на глухую окраину города. Надо сказать, что Дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они ещё находились возле пекарни: невзирая на свой исполинский рост, этот Призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринуждённо, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия.

И то ли доброму Духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка — того самого, что работал у Скруджа в конторе, — направился он и повлёк Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Крэтчита Дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только! Жилище Боба, который и получал-то всего каких-нибудь пятнадцать «бобиков», сиречь шиллингов, в неделю! Боба, который по субботам клал в карман всего-навсего пятнадцать материальных воплощений своего христианского имени! И тем не менее

Святочный Дух удостоил своего благословения все его четыре каморки.

Тут встала миссис Крэтчит, супруга мистера Крэтчита, в дешёвом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете — всего на шесть пенсов ленты, а какой вид! — и расстелила на столе скатерть, в чём ей оказала помощь Белинда Крэтчит, её вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами, а юный Питер Крэтчит погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем, и когда концы гигантского воротничка (эта личная собственность Боба Крэтчита перешла по случаю великого праздника во владение его сына и прямого наследника) полезли от резкого движения ему в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельём на великосветском гулянье в парке. Тут в комнату с визгом ворвались ещё двое Крэтчитов — младший сын и младшая дочка — и, захлёбываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем, и они сразу по запаху учуяли, что это жарится их гусь. И зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита

Крэтчита, который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге (он ничуть не возомнил о себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка), что картофелины в лениво булькавшей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку.

— Куда это запропастился ваш бесценный папенька? — вопросила миссис Крэтчит. — И ваш братец Малютка Тим! Да и Марте уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое Рождество она не запаздывала так.

— Марта здесь, маменька, — произнесла молодая девушка, появляясь в дверях.

— Марта здесь, маменька! — закричали младшие Крэтчиты. — Ура! А какой у нас будет гусь, Марта!

— Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала! — приветствовала дочку миссис Крэтчит и, расцеловав её в обе щёки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали.

— Вчера допоздна сидели, маменька, надо было закончить всю работу, — отвечала девушка. — А сегодня всё утро прибирались.

— Ладно! Слава богу, что пришла наконец! —

сказала миссис Крэтчит. — Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся.

— Нет, нет! Папенька идёт! — запищали младшие Крэтчиты, которые умудрялись поспевать решительно всюду. — Спрячься, Марта! Спрячься!

Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства — щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в тёплом шарфе, свисавшем спереди фута на три, не считая бахромы, и с Малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах.

— А где же наша Марта? — вскричал Боб Крэтчит, озираясь по сторонам.

— Она не придёт, — объявила миссис Крэтчит.

— Не придёт? — повторил Боб Крэтчит упавшим голосом. А он-то мчался из церкви, как кровный скакун с Малюткой Тимом в седле, и пришёл домой галопом! — Не придёт к нам на первый день Рождества?

Конечно, это была только шутка, но огорчённый вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею, а младшие

Крэтчиты завладели Малюткой Тимом и потащили его на кухню — послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завёрнутый в салфетку пудинг.

— А как вёл себя наш Малютка Тим? — осведомилась миссис Крэтчит, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой.

— Это не ребёнок, а чистое золото, — отвечал Боб. — Чистое золото. Он, понимаешь ли, так часто остаётся один и всё сидит себе и раздумывает, и до такого иной раз додумается — просто диву даёшься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви.

Ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день Рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими.

Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своём маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится всё крепче и здоровее, голос у него задрожал ещё сильнее.

Боб не успел больше ничего сказать — раздался стук маленького проворного костыля, и Малютка Тим, в сопровождении братца и сестрицы,

возвратился к своей скамеечке у огня. Боб, подвернув обшлага (бедняга, верно, думал, что им ещё может что-нибудь повредить!), налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона и принялся всё это старательно разбалтывать, а потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Крэтчитов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии.

Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что эта домашняя птица — такой феномен, по сравнению с которым чёрный лебедь — самое заурядное явление. А впрочем, в этом бедном жилище гусь и впрямь был диковинкой. Миссис Крэтчит подогрела подливку (приготовленную заранее в маленькой кастрюльке), пока она не зашипела. Юный Питер с нечеловеческой энергией принялся разминать картофель. Мисс Белинда добавила сахару в яблочный соус. Марта обтёрла горячие тарелки. Боб усадил Малютку Тима в уголке рядом с собой, а Крэтчиты-младшие расставили для всех стулья, не забыв при этом и себя, и застыли у стола на сторожевых постах, закупорив себе ложками рты, дабы не попросить кусочек гуся, прежде чем

до них дойдёт черёд.

Но вот стол накрыт. Прочли молитву. Наступает томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Крэтчит, окинув испытующим взглядом лезвие ножа для жаркого, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился, и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору, единодушный вздох восторга пронёсся над столом, и даже Малютка Тим, подстрекаемый младшими Крэтчитами, постучал по столу рукояткой ножа и слабо пискнул:

— Ура!

Нет, не бывало ещё на свете такого гуся! Боб решительно заявил, что никогда не поверит, чтобы где-нибудь мог сыскаться другой такой замечательный фаршированный гусь! Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре его вполне хватило на ужин для всей семьи. Да, в самом деле, они даже не смогли его прикончить, как восхищённо заметила миссис Крэтчит, обнаружив уцелевшую на блюде микроскопическую косточку. Однако каждый был сыт, а младшие Крэтчиты не только наелись до отвала, но перемазались луковой начинкой по самые брови. Но вот мисс

Белинда сменила тарелки, и миссис Крэтчит в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей.

А ну как пудинг не дошёл! А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы! А ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся! Какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор, забраться во двор и похитить пудинг с чёрного хода! Такие предположения заставили младших Крэтчитов помертветь от страха. Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову!

Внимание! В комнату повалил пар! Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки! Это — от мокрой салфетки. Теперь пахнет как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живёт прачка! Ну, конечно, — несут пудинг!

И вот появляется миссис Крэтчит — раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, — таким необычайно твёрдым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой остролиста,

воткнутой в самую его верхушку.

О дивный пудинг! Боб Крэтчит заявил, что за всё время их брака миссис Крэтчит ещё ни разу ни в чём не удавалось достигнуть такого совершенства, а миссис Крэтчит заявила, что теперь у неё на сердце полегчало и она может признаться, как грызло её беспокойство — хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчитов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намёк.

Но вот с обедом покончено, скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. Попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Затем всё семейство собралось у камелька «в кружок», как выразился Боб Крэтчит, имея в виду, должно быть, полукруг. По правую руку Боба выстроилась в ряд вся коллекция фамильного хрусталя: два стакана и кружка с отбитой ручкой.

Эти сосуды, впрочем, могли вмещать в себя

горячую жидкость ничуть не хуже каких-нибудь золотых кубков, и когда Боб наполнял их из кувшина, лицо его сияло, а каштаны на огне шипели и лопались с весёлым треском. Затем Боб провозгласил:

— Весёлых Святок, друзья мои! И да благословит нас всех Господь!

И все хором повторили его слова.

— Да осенит нас Господь своею милостью! — промолвил и Малютка Тим, когда все умолкли.

Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку, и хотел всё время чувствовать его возле себя.

— Дух, — сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал. — Скажи мне, Малютка Тим будет жить?

— Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага, — отвечал Дух. — И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если Будущее не внесёт в это изменений, ребёнок умрёт.

— Нет, нет! — вскричал Скрудж. — О нет! Добрый Дух, скажи, что судьба пощадит его!

— Если Будущее не внесёт в это изменений, — повторил Дух, — дитя не доживёт до следующих

Святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает и тем сократит излишек населения!

Услыхав, как Дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью.

— Человек! — сказал Дух. — Если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе ещё не дано узнать, ЧТО есть излишек и ГДЕ он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто — умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судии куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребёнок этого бедняка. О Боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли!

Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, трепеща. Но тут же поспешно вскинул глаза, услыхав своё имя.

— За здоровье мистера Скруджа! — сказал Боб. — Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника.

— Скажешь тоже — не справить! — вскричала миссис Крэтчит, вспыхнув. — Жаль, что его здесь

нет. Я бы такой тост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы!

— Моя дорогая! — укорил её Боб. — При детях! В такой день!

— Да уж воистину только ради этого великого дня можно пить за здоровье такого гадкого, бесчувственного, жадного скареды, как мистер Скрудж, — заявила миссис Крэтчит. — И ты сам это знаешь, Роберт! Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга!

— Моя дорогая, — кротко отвечал Боб. — Сегодня Рождество.

— Так и быть, выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника, — сказала миссис Крэтчит. — Но только не ради него. Пусть себе живёт и здравствует. Пожелаем ему весёлых Святок и счастливого Нового года. То-то он будет весел и счастлив, могу себе представить!

Вслед за матерью выпили и дети, но впервые за весь вечер они пили не от всего сердца. Малютка Тим выпил последним — ему тоже был как-то не по душе этот тост. Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. Упоминание о нём чёрной тенью легло на праздничное сборище, и добрых пять минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень.

Но когда она развеялась, им стало ещё веселее, чем прежде, от одного сознания, что со Скруджем-Сквалыжником на сей раз покончено. Боб рассказал, какое он присмотрел для Питера местечко, — если дело выгорит, у них прибавится целых пять шиллингов шесть пенсов в неделю. Крэтчиты младшие помирали со смеху при одной мысли, что их Питер станет деловым человеком, а сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и словно прикидывая, куда предпочтительнее будет поместить капитал, когда к нему начнут поступать такие несметные доходы. Тут Марта, которая была отдана в обучение шляпной мастерице, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и по скольку часов трудиться без передышки, и как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться, благо праздник и её отпустили на весь день, и как намедни она видела одну графиню и одного лорда, и лорд был «этакий невысокий, ну совсем как наш Питер». При этих словах Питер подтянул свой воротничок так высоко, что, если бы вы при этом присутствовали, вам, пожалуй, не удалось бы установить, есть ли у него вообще голова. А тем

временем каштаны и кувшин уже не раз обошли всех вкруговую, и вот Малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел её, поверьте, превосходно.

Конечно, всё это было довольно убого и заурядно, никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом, — насчёт одежды у них вообще было небогато, — башмаки у всех просили каши, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с ссудной кассой. И тем не менее все здесь были счастливы, довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе, а когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно засветились, ибо Дух окропил их на прощание маслом из своего факела, и Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности — от Малютки Тима.

Тем временем уже стемнело и повалил довольно густой снег, и когда Скрудж в сопровождении Духа снова очутился на улице, в каждом доме во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали камины и в окнах заманчиво мерцало их весёлое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на

стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду: у очага грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задёрнуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребятишки гурьбой высыпали из дому прямо на снег навстречу своим тёткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сёстрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в тёплых капорах и меховых башмачках, щебеча без умолку, перебегает через дорогу к соседям, и горе одинокому холостяку (очаровательным плутовкам это известно не хуже нас), который увидит их разрумянившиеся от мороза щёчки!

Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборища, можно было подумать, что решительно все собрались в гости и ни в одном доме не осталось хозяев, чтобы гостей принять. Но это было не так. Гостей поджидали в каждом доме и то и дело подбрасывали угля в камин.

И как же ликовал Дух! Как радостно устремлялся он вперёд, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное

веселье. Даже фонарщик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней, и приодевшийся, чтобы потом отправиться в гости, громко рассмеялся, когда Дух пронёсся мимо, хотя едва ли могло прийти бедняге в голову, что кто-нибудь, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию.

И вдруг — а Дух хоть бы словом об этом предупредил — Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота. Огромные, разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов. Отовсюду сочилась вода — вернее, могла бы сочиться, если бы её не сковал кругом, насколько хватало глаз, мороз, — и не росло ничего, кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустенье и, становясь всё уже и уже, померкла наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи.

— Где мы? — спросил Скрудж.

— Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, — отвечал Дух. — Но и они не чуждаются меня. Смотри!

В оконце какой-то хибарки блеснул огонёк, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала весёлая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно — по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, проносившегося с завыванием над пустынным болотом, пел рождественскую песнь, знакомую ему ещё с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлялся и голос его креп, а как только голоса стихали, и его голос слабел и замирал.

Дух не замешкался у этой хижины, но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, полетел дальше над болотом… Куда. Неужто к морю? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж, к своему ужасу, увидел грозную гряду скал — оставшийся позади берег. Его оглушил грохот волн. Пенясь, дробясь, неистовствуя, они с рёвом врывались в чёрные, ими же выдолбленные пещеры, словно в ярости своей стремились раздробить землю.

В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утёсе, о который день за днём и

год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Огромные груды морских водорослей облепили его подножие, а буревестники (не порождение ли они ветра, как водоросли — порождение морских глубин?) кружили над ним, взлетая и падая, подобно волнам, которые они задевали крылом.

Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно в каменной толще стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием, затем подняли тяжёлые кружки с грогом и пожелали друг другу весёлого праздника, а старший, чьё лицо, подобно деревянной скульптуре на носу старого фрегата, носило следы жестокой борьбы со стихией, затянул бодрую песню, звучавшую как рёв морского прибоя.

И вот уже Дух устремился вперёд, над чёрным бушующим морем. Всё вперёд и вперёд, пока — вдали от всех берегов, как сам он поведал Скруджу, — не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной тёмной и сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала — к дозорному на носу, от дозорного

— к матросам, стоявшим на вахте, и каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песнь, либо думал о наступивших Святках, либо вполголоса делился с товарищем воспоминаниями о том, как он праздновал Святки когда-то, и выражал надежду следующий праздник провести в кругу семьи. И каждый, кто был на корабле, — спящий или бодрствующий, добрый или злой, — нашёл в этот день самые тёплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нём. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день.

И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперёд во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама Смерть, — каково же было его удивление, когда, погружённый в эти думы, он услышал вдруг весёлый, заразительный смех. Но тут его ждала ещё большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а Дух стоит рядом и с лас-

ковой улыбкой смотрит не на кого другого, как всё на того же племянника!

— Ха-ха-ха! — заливался племянник Скруджа. — Ха-ха-ха!

Если вам, читатель, по какой-то невероятной случайности довелось знавать человека, одарённого завидной способностью смеяться ещё более заразительно, чем племянник Скруджа, скажу одно: вам неслыханно повезло. Представьте меня ему, и я буду очень дорожить этим знакомством.

Болезнь и скорбь легко передаются от человека к человеку, но всё же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и весёлое расположение духа, и я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы, а его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев — и тоже хохотали во всё горло:

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— Он сказал, что Святки — это вздор, чепуха, чтоб мне пропасть! — кричал племянник Скруджа. — И ведь всерьёз сказал, ей-богу!

— Да как ему не совестно, Фред! — с возмущением вскричала племянница. Ох, уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всём со всей решительностью.

Племянница Скруджа была очень хороша собой — на редкость хороша. Прелестное личико, наивно-удивлённый взгляд, ямочки на щеках. Маленький пухлый ротик казался созданным для поцелуев, как оно, без сомнения, и было. Крошечные ямочки на подбородке появлялись и исчезали, когда она смеялась, и ни одно существо на свете не обладало парой таких лучезарных глаз. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить, но и приласкать — тоже.

— Он забавный старый чудак, — сказал племянник Скруджа. — Не особенно приветлив, конечно, ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья.

— Он ведь очень богат, Фред, — заметила племянница. — По крайней мере, ты всегда мне это говорил.

— Да что с того, моя дорогая, — сказал племянник. — Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра, и ему не доставляет радости. Он лишил себя даже приятного сознания, что… ха-ха-ха!.. что он может когда-нибудь осчастли-

вить своими деньгами нас.

— Терпеть я его не могу! — заявила племянница, и сёстры племянницы, да и все прочие дамы выразили совершенно такие же чувства.

— Ну, а по мне, он ничего, — сказал племянник. — Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам — всегда и во всём. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас, и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого.

— А я полагаю, что вовсе не плохого, — возразила племянница, и все поддержали её, а так как они только что отобедали и собрались у камина, возле которого на столике уже горела лампа и был приготовлен десерт, то с мнением их нельзя не считаться.

— Что ж, рад это слышать, — промолвил племянник Скруджа. — А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяюшек. А вы что скажете, Топпер?

Топпер, который совершенно явно имел виды на одну из сестёр хозяйки, отвечал, что всякий холостой мужчина — это жалкий отщепенец и не имеет права высказывать суждение о таком

предмете. При этих словах сестра племянницы — не та, что с розами у корсажа, пухленькая, с гофрированной кружевной оборочкой у ворота, — залилась краской.

— Ну же, Фред, продолжай, — потребовала племянница Скруджа, хлопая в ладоши. — Вечно он начнёт рассказывать и не кончит! Такой нелепый человек!

Племянник Скруджа снова покатился со смеху, и так как смех его был заразителен, все как один последовали его примеру, хотя пухленькая сестра племянницы и старалась противостоять заразе, усиленно нюхая флакончик с ароматическим уксусом.

— Я хотел только заметить, — сказал племянник Скруджа, — что его антипатия к нам и нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда. Это, я думаю, во всяком случае приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой, заплесневелой конторе или в его замшелой квартире. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне его жаль. Он может до конца дней своих хулить Святки, но волей-неволей станет лучше судить о

них, если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца: «Как поживаете, дядюшка Скрудж?» Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку пятьдесят фунтов — с меня и того довольно. Мне, кстати, сдаётся, что мои слова тронули его вчера.

Его слова тронули Скруджа! Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха, но хозяину по причине его на редкость добродушного нрава было совершенно всё равно, над кем смеются гости, лишь бы они веселились от души, и, стремясь поддержать их в этом настроении, он с довольным видом пустил вкруговую бутылку вина.

Напившись чая, решили заняться музыкой. В этом семействе музыка была в чести, и когда там принимались распевать песни на два, а то и на три голоса с хором, можете мне поверить, что исполняли их со знанием дела. Особенно отличался мистер Топпер, который очень усердно гудел басом, и притом без особой даже натуги, так что лицо у него не багровело и на лбу не надувались жилы. Племянница Скруджа недурно играла на арфе и в числе прочих музыкальных пьес исполнила одну простенькую песенку (совсем

пустячок, вы бы через две минуты уже могли её насвистать), которую певала когда-то одна маленькая девочка, та, что приехала однажды вечером, чтобы увезти Скруджа из пансиона. Это воспоминание воскресил в душе Скруджа Дух Прошлых Святок, и теперь, когда Скрудж услыхал знакомую мелодию, картины былого снова ожили в его памяти. Скрудж слушал, и сердце его смягчалось всё более и более, и ему уже казалось, что внимай он чаще этим звукам в давно минувшие годы, — быть может, он всегда стремился бы только к добру на счастье себе и людям и не пришлось бы духу Джейкоба Марли вставать из могилы.

Однако не одной только музыке был посвящён этот вечер. Помузицировав, принялись играть в фанты. Ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на Святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца. Впрочем, постойте! Сначала играли в жмурки. Ну, конечно! И никто меня не убедит, что мистер Топпер действительно ничего не видел. Да я скорее поверю, что у него была ещё одна пара глаз — на пятках. По-моему, они были в сговоре — он и племянник Скруджа. А Дух тоже был с ними заодно. Если бы вы виде-

ли, как мистер Топпер припустился прямиком за толстушкой с кружевной оборочкой, вы бы сами сказали, что это значит чересчур уж рассчитывать на легковерие человеческой натуры. Опрокидывая стулья, роняя каминные щипцы, налетая на фортепьяно, он неотступно гнался за ней по пятам и чуть не задохся, запутавшись в портьерах! Он всегда безошибочно знал, в каком конце комнаты находится пухленькая сестрица хозяйки, и не желал ловить никого другого. Даже если бы вы нарочно поддались ему (а кое-кто и пытался это проделать), он бы, для отвода глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить, — да только какой бы дурак ему поверил! — и тотчас устремился бы в другом направлении — за пухлой сестрицей.

— Это нечестно! — восклицала она, и не раз, и оно в самом деле было нечестно. Но как ни увёртывалась она от него, как ни проскальзывала, шелестя шёлковыми юбками, перед самым его носом, ему всё же удалось её поймать, и вот тут — когда он загнал её в угол, откуда ей уже не было спасения, — вот тут поведение его стало поистине чудовищным. Сколь гнусно было его притворство, когда он делал вид, что не узнаёт её и должен коснуться лент у неё на голове и

какого-то колечка на пальчике и какой-то цепочки на шее, чтобы удостовериться, что это действительно она. Без сомнения, она не преминула высказать ему своё мнение о нём, когда они, укрывшись за портьерой, поверяли друг другу какие-то секреты, в то время как с завязанными глазами бегал уже кто-то другой.

Племянница Скруджа не играла в жмурки. Её удобно устроили в уютном уголке, усадив в глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку, причём Дух и Скрудж оказались как раз за её спиной. Но в фантах и она приняла участие, а когда играли в «Любишь не любишь» — так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неописуемый восторг. Столь же блистательно отличилась она и в игре «Как, когда, где» и, к тайной радости племянника Скруджа, совершенно затмила всех своих сестёр, хотя они тоже были весьма шустрые девицы, что охотно подтвердил бы вам мистер Топпер. Гостей было человек двадцать, не меньше, и все — и млад и стар — принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своём увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных, и не раз громко заявлял о своей догадке, и она почти всегда оказывалась правильной, ибо

самые острые иголки, что выпускает уайтчеплская игольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почему-либо необходимым прикидываться тупицей.

Такое его поведение пришлось, должно быть, Призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребёнок, выпрашивать у него разрешения побыть с гостями, пока они не отправятся по домам, но Дух отвечал, что это невозможно.

— Они затеяли новую игру! — молил Скрудж. — Ну хоть полчасика, Дух! Только полчасика!

Игра называлась «Да и нет». Племянник Скруджа должен был задумать какой-нибудь предмет, а остальные — угадать, что он задумал. По условиям игры он мог отвечать на все вопросы только «да» или «нет». Под перекрёстным огнём посыпавшихся на него вопросов удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное — ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живёт в Лондоне и ходит по улицам, и которое не водят на цепи и не показывают за деньги, живёт оно не

в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь, и не осёл, и не корова, и не бык, и не тигр, и не собака, и не свинья, и не кошка, и не медведь. При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришёл в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула:

— Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред! Знаю!

— Ну что? — закричал Фред.

— Это ваш дядюшка Скру-у-у-дж!

Да, так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим, хотя кое-кто нашёл нужным возразить, что на вопрос: «Это медведь?» — следовало ответить не «нет», а «да», так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине.

— Ну, мы так потешились насчёт старика, — сказал племянник, — что было бы чёрной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа!

— За дядюшку Скруджа! — закричали все.

— Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, весёлого Рождества и счастливого Нового

года! — сказал племянник. — Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они всё же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа!

А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы её в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы Дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и Дух со Скруджем снова пустились в странствие.

Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ и немало повидали отдалённых мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел; он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко; к изнемогающим в житейской борьбе — и они окрылялись новой надеждой; к беднякам — и они обретали в себе богатство. В тюрьмах, больницах и богадельнях, в убогих приютах нищеты — всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердца человека перед благодатным духом праздника, — всюду

давал он людям своё благословение и учил Скруджа заповедям милосердия.

Долго длилась эта ночь, если то была всего одна лишь ночь, в чём Скрудж имел основания сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как он пустился с Духом в путь. И ещё одну странность заметил Скрудж: в то время как сам он внешне совсем не изменился, Призрак старел у него на глазах. Скрудж давно уже видел происходящую в Духе перемену, однако до поры до времени молчал. Но вот, покинув детский праздник, устроенный в крещенский вечер, и очутившись вместе с Духом на открытой равнине, он взглянул на него и заметил, что волосы его совсем поседели.

— Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? — спросил его тут Скрудж.

— Моя жизнь на этой планете быстротечна, — отвечал Дух. — И сегодня ночью ей придёт конец.

— Сегодня ночью? — вскричал Скрудж.

— Сегодня в полночь. Чу! Срок близится.

В это мгновение часы на колокольне пробили три четверти двенадцатого.

— Прости меня, если об этом нельзя спрашивать, — сказал Скрудж, пристально глядя на

мантию Духа. — Но мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. Что это виднеется из-под края твоей одежды — птичья лапа?

— Нет, даже на птичьей лапе больше мяса, чем на этих костях, — последовал печальный ответ Духа. — Взгляни!

Он откинул край мантии, и глазам Скруджа предстали двое детей — несчастные, заморённые, уродливые, жалкие и вместе с тем страшные. Стоя на коленях, они припали к ногам Духа и уцепились за его мантию.

— О Человек, взгляни на них! — воскликнул Дух. — Взгляни же, взгляни на них!

Это были мальчик и девочка. Тощие, мертвенно-бледные, в лохмотьях, они глядели исподлобья, как волчата, в то же время распластываясь у ног Духа в унизительной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем, но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты и иссушила кожу, обвисшую как тряпка.

То, что могло бы быть престолом ангелов, стало приютом демонов, грозящих всему живому. За все века исполненной тайн истории мироздания никакое унижение или извращение человече-

ской природы, никакие нарушения её законов не создавали, казалось, ничего столь чудовищного и отталкивающего, как эти два уродца.

Скрудж отпрянул в ужасе. Когда эти несчастные создания столь внезапно предстали перед ним, он хотел было сказать, что они очень славные дети, но слова застряли у него в горле, как будто язык не пожелал принять участия в такой вопиющей *лжи*.

— Это твои дети, Дух? — Вот и всё, что он нашёл в себе силы произнести.

— Они — порождение Человека, — отвечал Дух, опуская глаза на детей. — Но видишь, они припали к моим стопам, прося защиты от тех, кто их породил. Имя мальчика — Невежество. Имя девочки — Нищета. Остерегайся обоих и всего, что им сродни, но пуще всего берегись мальчишки, ибо на лбу у него начертано «Гибель», и гибель он несёт с собой, если эта надпись не будет стёрта. Что ж, отрицай это! — вскричал Дух, повернувшись в сторону города и простирая к нему руку. — Поноси тех, кто станет тебе это говорить! Используй невежество и нищету в своих нечистых, своекорыстных целях! Увеличь их, умножь! И жди конца!

— Разве нет им помощи, нет пристанища? —

воскликнул Скрудж.

— Разве нет у нас тюрем? — спросил Дух, повторяя собственные слова Скруджа. — Разве нет у нас работных домов?

В это мгновение часы пробили полночь.

Скрудж оглянулся, ища Духа, но его уже не было. Когда двенадцатый удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный Призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и, подобно облаку или туману, плывший над землёй к нему навстречу.

Строфа четвёртая

Последний из Духов

Дух приближался — безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени.

Чёрное, похожее на саван одеяние Призрака скрывало его голову, лицо, фигуру — видна была только одна простёртая вперёд рука. Не будь этой руки, Призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака.

Благоговейный трепет объял Скруджа, когда

эта высокая, величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас — больше ничего.

— Дух Будущих Святок, не ты ли почтил меня своим посещением? — спросил наконец Скрудж.

Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперёд.

— Ты намерен открыть мне то, что ещё не произошло, но должно произойти в будущем? — продолжал свои вопросы Скрудж. — Так ли, Дух?

Складки одеяния, ниспадающего с головы Духа, слегка шевельнулись, словно Дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил.

Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за Призраком, он почувствовал, что едва держится на ногах. Должно быть, Призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя.

Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал всё его существо при мысли о том, что под прикрытием этого чёрного, мрачного савана взор Призрака

неотступно следит за ним, в то время как сам он, сколько бы ни напрягал зрение, не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной чёрной бесформенной массы.

— Дух Будущих Святок! — воскликнул Скрудж. — Я страшусь тебя. Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком и потому готов с сердцем, исполненным благодарности, следовать за тобой. Разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь?

Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простёрта вперёд.

— Веди меня! — сказал Скрудж. — Веди! Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна — я знаю это. Веди же меня, Призрак!

Привидение двинулось вперёд так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землёй и увлекало за собой.

Они вступили в город — вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже очутились в центре города — на Бирже, в толпе коммерсантов, которые

сновали туда и сюда, и собирались группами, и поглядывали на часы, и позванивали монетами в кармане, и в раздумье перебирали массивные золотые брелоки, — словом, всё было как всегда, — знакомая Скруджу картина.

Дух остановился возле небольшой кучки дельцов. Заметив, что рука Призрака указывает на них, Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору.

— Нет, — сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком. — Об этом мне ничего не известно. Знаю только, что он умер.

— Когда же это случилось? — спросил кто-то.

— Да как будто прошедшей ночью.

— А что с ним было? — спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки. — Мне казалось — он всех переживёт.

— А бог его знает, — промолвил первый и зевнул.

— Что же он сделал со своими деньгами? — спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал нарост, как у индюка.

— Не слыхал, не знаю, — отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул.

— Оставил их своей фирме, должно быть. Мне он их не оставил. Это-то уж я знаю доподлинно.

Шутка была встречена общим смехом.

— Похоже, пышных похорон не будет, — продолжал человек с подбородком. — Пропади я пропадом, если кто-нибудь придёт его хоронить. Может, нам собраться компанией и показать пример?

— Что ж, если будут поминки, я не прочь, — отозвался джентльмен с наростом на носу. — За такой труд не грех и покормить.

Снова смех.

— Я, видать, бескорыстнее всех вас, — сказал человек с подбородком, — так как никогда не надеваю чёрных перчаток и никогда не завтракаю второй раз, но тем не менее готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить, так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать. Ну, до завтра, господа.

Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов, а Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на Духа, ожидая от него объяснения.

Призрак двинулся к выходу. Перст его указы-

вал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к их беседе, полагая, что здесь он найдёт наконец объяснение всему.

Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми и весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения.

— Добрый день, — сказал один.

— Добрый день, — отвечал другой.

— Слыхали? — сказал первый. — Он попал-таки наконец чёрту в лапы.

— Да, слыхал, — отвечал другой. — Каков мороз!

— Самый рождественский. Вы не любитель покататься на коньках?

— Нет, нет. Мало у меня без того забот! Моё почтение!

Вот и всё, ни слова больше. Встретились, потолковали и разошлись.

Поначалу Скрудж был несколько удивлён, что Дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе, но потом решил, что в словах этих людей заключён какой-то скрытый смысл, и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение

к смерти Джейкоба, его старого компаньона, так как то было делом Прошлого, а областью Духа было Будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей. Однако, ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, всё, что приведётся ему увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет разгадать все загадки.

Скрудж снова заглянул на Биржу, ища здесь своего двойника, но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на Бирже, однако он не нашёл себя ни там, ни в толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение — совершенно изменить свой образ жизни — осуществилось.

Чёрной безмолвной тенью стоял рядом с ним Призрак с простёртой вперёд рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука Призрака протянута к нему, а Невидимый Взор —

как ему почудилось — пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь леденеет у него в жилах.

Покинув это оживлённое место, они углубились в глухой район трущоб, куда Скрудж никогда прежде не заглядывал, хотя знал, где расположен этот квартал и какой дурной пользуется он славой. Узкие, грязные улочки; жалкие домишки и лавчонки; едва прикрытый зловонным тряпьём, пьяный, отталкивающий в своём убожестве люд. Глухие переулки, подворотни, словно стоки нечистот, извергали в лабиринт кривых улиц свою вонь, свою грязь, свой блуд, и весь квартал смердел пороком, преступлениями, нищетой.

В самой гуще этих притонов и трущоб стояла лавка старьёвщика — низкая и словно придавленная к земле односкатной крышей. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. На полу лавчонки были свалены в кучу ржавые гвозди, ключи, куски дверных цепочек, задвижки, чашки от весов, сломанные пилы, гири и разный другой железный лом. Кучи подозрительного тряпья, комья тухлого сала, груды костей скрывали, казалось, тёмные тайны, в которые мало кому пришла бы охота проникнуть. И среди всех этих

отбросов, служивших предметом купли-продажи, возле сложенной из старого кирпича печурки, где догорали угли, сидел седой мошенник довольно преклонного возраста. Отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей при помощи занавески из полуистлевших лохмотьев, развешанных на верёвке, он удовлетворённо посасывал трубку и наслаждался покоем в тиши своего уединения.

Когда Скрудж, ведомый Призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объёмистым узлом в руках крадучись шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог, как в дверях показалась другая женщина тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошёл мужчина в порыжелой чёрной паре, и все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старьёвщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом.

— Уж будьте покойны, подёнщица всегда поспеет первой! — воскликнула та, что опередила остальных. — Ну а прачка уж будет второй, а посыльный гробовщика — третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай! Ведь не сговариваясь

сошлись, видал?

— Что ж, лучшего места для встречи вам бы и не сыскать, — отвечал старик Джо, вынимая трубку изо рта. — Проходите в гостиную. Ты-то, голубушка, уж давно свой человек здесь, да и эти двое тоже не чужие. Погодите, я сейчас притворю дверь. Ишь ты! Как скрипит! Во всей лавке, верно, не сыщется куска такого старого ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Ха-ха, ха-ха! Здесь всё одно другого стоит, всем нам пора на свалку. Проходите в гостиную! Проходите в гостиную!

Гостиной называлась часть комнаты за тряпичной занавеской. Старик сгрёб угли в кучу старым металлическим прутом от лестничного ковра, мундштуком трубки снял нагар с чадившей лампы (время было уже позднее) и снова сунул трубку в рот.

Тем временем женщина, которая пришла первой, швырнула свой узел на пол, с нахальным видом плюхнулась на табуретку, упёрлась кулаками в колени и вызывающе поглядела на тех, кто пришёл после неё.

— Ну, в чём дело? Чего это вы уставились на меня, миссис Дилбер? — сказала она. — Каждый вправе позаботиться о себе. Он-то это умел.

— Что верно, то верно, — сказала прачка. — И никто не умел так, как он.

— А коли так, чего же ты стоишь и таращишь глаза, словно кого-то боишься? Никто же не узнает. Ворон ворону глаз не выклюет.

— Да уж верно, нет! — сказали в один голос миссис Дилбер и мужчина. — Уж это так.

— Вот и ладно! — вскричала подёнщица. — И хватит об этом. Подумаешь, велика беда, если они там недосчитаются двух-трёх вещичек вроде этих вот. Покойника от этого не убудет, думается мне.

— И в самом деле, — смеясь, поддакнула миссис Дилбер.

— Ежели этот старый скряга хотел, чтобы всё у него осталось в целости-сохранности, когда он отдаст Богу душу, — продолжала подёнщица, — почему он не жил как все люди? Живи он по-людски, уж, верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час и не подох бы он так — один-одинёшенек.

— Истинная правда! — сказала миссис Дилбер. — Это ему наказание за грехи.

— Эх, жалко, наказали-то мы его мало, — отвечала та. — Да, кабы можно было побольше его наказать, уж я бы охулки на руку не положила, верьте слову. Ну, ладно, развяжите-ка этот узел,

дядюшка Джо, и назовите вашу цену. Говорите начистоту. Я ничего не боюсь — первая покажу своё добро. И этих не боюсь — пусть смотрят. Будто мы и раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам что может. Только я в этом греха не вижу. Развязывайте узел, Джо.

Но благородные её друзья не пожелали уступить ей в отваге, и мужчина в порыжелом чёрном сюртуке храбро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешёвенькая булавка для галстука — вот, в сущности, и всё. Старикашка Джо обследовал все эти предметы один за другим, оценил, проставил стоимость каждого мелом на стене и, видя, что больше ждать нечего, подвёл итог.

— Вот сколько вы получите, — сказал старьёвщик, — и ни пенса больше, пусть меня сожгут живьём. Кто следующий?

Следующей оказалась миссис Дилбер. Она предъявила простыни и полотенца, кое-что из одежды, две старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Всё это также получило свою оценку мелом на стене.

— Дамам я всегда переплачиваю, — сказал ста-

рикашка. — Это моя слабость. Таким-то манером я и разоряюсь. Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть ещё хоть пенни и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр, и сбавлю полкроны.

— А теперь развяжите мой узел, Джо, — сказала подёнщица.

Старикашка опустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и, распутав множество узелков, извлёк довольно большой и тяжёлый свёрток какой-то тёмной материи.

— Что это такое? — спросил старьёвщик. — Никак, полог?

— Ну да, — со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете. — Полог от кровати.

— Да неужто ты сняла всю эту штуку — всю как есть, вместе с кольцами, — когда он ещё лежал там?

— Само собой, сняла, — отвечала женщина. — А что такого?

— Ну, голубушка, тебе на роду написано нажить капитал, — заметил старьёвщик. — И ты его наживёшь.

— Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги стану я отказываться от добра, которое плохо лежит, — невозмутимо отвечала жен-

щина. — Не беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром.

— Это его одеяло? — спросил старьёвщик.

— А чьё же ещё? — отвечала женщина. — Теперь небось и без одеяла не простудится!

— А отчего он умер? Уж не от заразы ли какой? — спросил старик и, бросив разбирать вещи, поднял глаза на женщину.

— Не бойся, — отвечала та. — Не так уж приятно было возиться с ним, а когда б он был ещё и заразный, разве бы я стала из-за такого хлама. Э, смотри глаза не прогляди. Да можешь пялить их на эту сорочку, пока они не лопнут, тут не только что дырочки — ни одной обтрёпанной петли не сыщется. Самая лучшая его сорочка. Из тонкого полотна. А кабы не я, так бы зря и пропала.

— Как это пропала? — спросил старьёвщик.

— Да ведь напялили на него и чуть было в ней не похоронили, — со смехом отвечала женщина. — Не знаю, какой дурак это сделал, ну а я взяла да и сняла. Уж если простой коленкор и для погребения не годится, так на какую же его делают потребу? Нет, для него это в самый раз. Гаже всё равно не станет, во что ни обряди.

Скрудж в ужасе прислушивался к её словам. Он смотрел на этих людей, собравшихся вокруг

награбленного добра при скудном свете лампы, и испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа.

— Ха-ха-ха! — рассмеялась подёнщица, когда старикашка Джо достал фланелевый мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу — каждому его долю. — Вот как всё вышло! Видали? Пока был жив, он всех от себя отваживал, будто нарочно, чтоб мы могли поживиться на нём, когда он упокоится. Ха-ха-ха!

— Дух! — промолвил Скрудж, дрожа с головы до пят. — Я понял, понял! Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Всё шло к тому… Боже милостивый, это ещё что?

Он отпрянул в неизъяснимом страхе, ибо всё изменилось вокруг и теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь её рукой. Стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой под рваной простынёй лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший о своей судьбе леденящим душу языком.

В комнате было темно, слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, хотя Скрудж, повинуясь какому-то внутреннему побуждению, и озирался по сторонам, стараясь понять, где он находится.

Только слабый луч света, проникавший откуда-то извне, падал прямо на кровать, где — ограбленный, обездоленный, необмытый, неоплаканный, покинутый всеми — покоился мертвец.

Скрудж взглянул на Духа. Его неподвижная рука указывала на голову покойника. Простыня была так небрежно наброшена на труп, что Скруджу стоило чуть приподнять край — только пальцем пошевелить, — и он увидел бы лицо. Скрудж понимал это, жаждал это сделать, знал, как это легко, но был бессилен откинуть простыню — так же бессилен, как и освободиться от Призрака, стоящего за его спиной.

О Смерть, Смерть, холодная, жестокая, неумолимая Смерть! Воздвигни здесь свой престол и окружи его всеми ужасами, коими ты повелеваешь, ибо здесь твои владения! Но если этот человек был любим и почитаем при жизни, тогда над ним не властна твоя злая сила, и в глазах тех, кто любил его, тебе не удастся исказить ни единой черты его лица! Пусть рука его теперь тяжела и падает бессильно, пусть умолкло сердце и кровь остыла в жилах, — но эта рука была щедра, честна и надёжна, это сердце было отважно, нежно и горячо, и в этих жилах текла кровь человека, а не зверя. Рази, Тень, рази! И ты увидишь,

как добрые его деяния — семена жизни вечной — восстанут из отверстой раны и переживут того, кто их творил!

Кто произнёс эти слова? Никто. Однако они явственно прозвучали в ушах Скруджа, когда он стоял перед покойником. И Скрудж подумал: если бы этот человек мог встать сейчас со своего ложа, что первое ожило бы в его душе? Алчность, жажда наживы, испепеляющие сердце заботы? Да, поистине славную кончину они ему уготовили!

Вот он лежит в тёмном пустом доме, и нет на всём свете человека — ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка — никого, кто мог бы сказать: «Этот человек был добр ко мне, и в память того, что как-то раз он сказал мне доброе слово, я теперь позабочусь о нём». Только кошка скребётся за дверью, заслышав, как пищат под шестком крысы, пытаясь прогрызть себе лазейку. Что влечёт этих тварей в убежище смерти, почему подняли они такую возню? Скрудж боялся об этом даже подумать.

— Дух! — сказал он. — Мне страшно. Верь мне — даже покинув это место, я всё равно навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдём отсюда!

Но неподвижная рука по-прежнему указывала

на изголовье кровати.

— Я понимаю тебя, — сказал Скрудж. — И я бы сделал это, если б мог. Но я не в силах, Дух. Не в силах!

И снова ему почудилось, что Призрак вперил в него взгляд.

— Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной, — вне себя от муки вскричал Скрудж, — покажи мне её, Дух, молю тебя!

Чёрный плащ Призрака распростёрся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился, глазам Скруджа открылась освещённая солнцем комната, в которой находилась мать с детьми.

Мать, видимо, кого-то ждала — с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитьё и тотчас его бросала, и видно было, как донимают её возгласы ребятишек, увлечённых игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошёл муж. Он был ещё молод, но истомлённое заботой лицо его говорило о перенесённых невзгодах. Впрочем, сейчас оно хранило какое-то необычное выражение: казалось, он чему-то рад и вместе с тем смущён и

тщетно пытается умерить эту радость.

Он сел за стол — обед уже давно ждал его у камина, — и когда жена после довольно длительного молчания нерешительно спросила его, какие новости, этот вопрос окончательно привёл его в замешательство.

— Скажи только — хорошие или дурные? — спросила она снова, стараясь прийти ему на помощь.

— Дурные, — последовал ответ.

— Мы разорены?

— Нет, Кэрелайн, есть ещё надежда.

— Да ведь это если он смягчится! — недоумевающе ответила она. — Конечно, если такое чудо возможно, тогда ещё не всё потеряно.

— Смягчиться уже не в его власти, — отвечал муж. — Он умер.

Если внешность его жены не была обманчива — то это было кроткое, терпеливое создание. Однако, услыхав слова мужа, она возблагодарила в душе судьбу и, всплеснув руками, открыто выразила свою радость. В следующую секунду она уже устыдилась своего порыва и пожалела о нём, но всё же таково было первое движение её сердца.

— Выходит, эта полупьяная особа сообщила мне истинную правду вчера, когда я пытался

проникнуть к нему и получить отсрочку на неделю, — помнишь, я рассказывал тебе. Я-то думал, что это просто отговорка, чтобы отделаться от меня. Но оказывается, он и в самом деле был тяжко болен. Более того — он умирал!

— Кому же должны мы теперь выплачивать долг?

— Не знаю. Во всяком случае, теперь мы успеем как-нибудь обернуться. А если и не успеем, то не может быть, чтобы наследник оказался столь же безжалостным кредитором, как покойный. Это была бы неслыханная неудача. Нет, мы можем сегодня заснуть спокойно, Кэрелайн!

Да, как бы ни пытались они умерить свою радость, у них отлегло от сердца. И у детей, которые, сбившись в кучку возле родителей, молча прислушивались к малопонятным для них речам, личики тоже невольно просветлели. Смерть человека принесла счастье в этот дом — вот что показал Дух Скруджу.

— Покажи мне другие, более добрые чувства, Дух, которые пробудила в людях эта смерть, — взмолился Скрудж, — или эта тёмная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами.

И Дух повёл Скруджа по улицам, где каждый

булыжник был ему знаком, и по пути Скрудж всё озирался по сторонам в надежде увидеть своего двойника, но так и не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Крэтчита, которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и увидали мать и детей, сидевших у очага.

Тишина. Глубокая тишина. Шумные маленькие Крэтчиты сидят в углу безмолвные и неподвижные, как изваяния. Взгляд их прикован к Питеру, который держит в руках раскрытую книгу. Мать и дочь заняты шитьём. Но как они все молчаливы!

— И взяв дитя, поставил его посреди них!

Где Скрудж ещё раньше слыхал эти слова — не в грёзах, а наяву? А сейчас их, верно, прочёл вслух Питер — в ту минуту, когда Скрудж и Дух переступали порог. Почему же он замолчал? Мать положила шитьё на стол и прикрыла глаза рукой.

— От чёрного глаза ломит, — сказала она.

От чёрного? Ах, бедный, бедный Малютка Тим!

— Вот уже и полегчало, — сказала миссис Крэтчит. — Глаза слезятся от работы при свечах. Не хватало ещё, чтобы ваш отец застал меня с красными глазами. Кажется, ему пора бы уже быть дома.

— Давно пора, — сказал Питер, захлопывая

книгу. — Но знаешь, мама, последние дни он стал ходить как-то потише, чем всегда.

Все снова примолкли. Наконец мать сказала спокойным, ровным голосом, который всего лишь раз чуть-чуть дрогнул:

— А помнится, как быстро он ходил с Малюткой Тимом на плече.

— Да, и я помню! — вскричал Питер. — Я часто видел.

— И я видел! — воскликнул один из маленьких Крэтчитов, и дочери тоже это подтвердили.

— Да ведь он был как пёрышко! — продолжала мать, низко склонившись над шитьём. — А отец так его любил, что для него это совсем не составляло труда. А вот и он сам!

Она поспешила к мужу навстречу, и маленький Боб в своём неизменном шарфе — без него он бы продрог до костей, бедняга! — вошёл в комнату. Чайник с чаем уже дожидался хозяина на очаге, и все наперебой стали наливать ему чай и ухаживать за ним. Затем двое маленьких Крэтчитов взобрались к отцу на колени, и каждый прижался щёчкой к его щеке, как бы говоря: «Не печалься, папа! Не надо!»

Боб весело болтал с ребятишками и обменивался ласковыми словами со всеми членами своего

семейства. Заметив лежавшее на столе шитьё, он похвалил миссис Крэтчит и дочерей за прилежание и сноровку. Они закончат всё куда раньше воскресенья, заметил он.

— Воскресенья? А ты был там сегодня, Роберт? — спросила жена.

— Да, моя дорогая, — отвечал Боб. — И жалею, что ты не могла пойти. Тебе было бы отрадно поглядеть, как там всё зелено. Но ты же будешь часто его навещать. А я обещал ему ходить туда каждое воскресенье. Сыночек мой, сыночек! — внезапно вскричал Боб. — Маленький мой! Крошка моя!

Слёзы хлынули у него из глаз. Он не мог их сдержать. Слишком уж он любил сынишку, чтобы совладать с собой.

Он поднялся наверх — в ярко и весело освещённую комнату, разубранную зелёными ветвями остролиста. Возле постели ребёнка стоял стул, и по всему видно было, что кто-то, быть может всего минуту назад, был здесь, сидел у этой кроватки… Бедняга Боб тоже присел на стул, посидел немного, погружённый в думу, и когда ему удалось справиться со своей скорбью, поцеловал маленькое личико. Он спустился вниз умиротворённый, покорившийся неизбежности.

Опять все собрались у огня, и потекла беседа. Мать и дочери снова взялись за шитьё. Боб принялся рассказывать им о необыкновенной доброте племянника Скруджа, который и видел-то его всего-навсего один-единственный раз, но тем не менее сегодня, встретившись с ним на улице и заметив, что он немного расстроен, — ну просто самую малость приуныл, пояснил Боб, — стал участливо расспрашивать, что его так огорчило.

— Более приятного, обходительного господина я ещё в жизни не встречал, — сказал Боб. — Ну, я тут же всё ему и рассказал. «От всего сердца соболезную вам, мистер Крэтчит, — сказал он. — И вам и вашей доброй супруге». Кстати, откуда он это-то мог узнать, не понимаю.

— Что «это», мой дорогой?

— Да вот — что ты добрая супруга, — отвечал Боб.

— Кто ж этого не знает! — вскричал Питер.

— Правильно, сынок, — сказал Боб. — Все знают, думается мне. «От всего сердца соболезную вашей доброй супруге, — сказал он. — Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен, прошу вас, приходите ко мне, вот мой адрес», — сказал он и дал мне свою визитную карточку! И дело даже не

в том, что он может чем-то нам помочь, — продолжал Боб. — Дело в том, что он был так добр, — вот что замечательно! Ну прямо будто он знал нашего Малютку Тима и горюет вместе с нами.

— По всему видно, что это добрая душа, — заметила миссис Крэтчит.

— А если б ты его видела, моя дорогая, да поговорила с ним, что бы ты тогда сказала! — отвечал Боб. — Я ничуть не удивлюсь, если он пристроит Питера на какое-нибудь хорошее местечко, помяни моё слово.

— Ты слышишь, Питер! — сказала миссис Крэтчит.

— А тогда, — воскликнула одна из девочек, — Питер найдёт себе невесту и обзаведётся своим домом.

— Отвяжись, — ухмыльнулся Питер.

— Конечно, со временем это может случиться, моя дорогая, — сказал Боб. — Однако спешить, мне кажется, некуда. Но когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного Малютку Тима… не так ли? Не забудет этой первой разлуки в нашей семье.

— Никогда, отец! — воскликнули все в один голос.

— И я знаю, — продолжал Боб, — знаю, мои дорогие, что мы всегда будем помнить, как кроток и терпелив был всегда наш дорогой Малютка, и никогда не станем ссориться — ведь это значило бы действительно забыть его!

— Никогда, никогда, отец! — снова последовал дружный ответ.

— Я счастлив, когда слышу это, — сказал Боб. — Я очень счастлив.

Тут миссис Крэтчит поцеловала мужа, а за ней — и обе старшие дочки, а за ними — и оба малыша, а Питер потряс отцу руку. Малютка Тим! В твоей младенческой душе тлела святая Господня искра.

— Дух, — сказал Скрудж. — Что-то говорит мне, что час нашего расставания близок. Я знаю это, хотя мне и неведомо — откуда. Скажи, кто был этот усопший человек, которого мы видели?

Дух Будущих Святок снова повлёк его дальше и, как показалось Скруджу, перенёс в какое-то иное время (впрочем, последние видения сменяли друг друга без всякой видимой связи и порядка — их объединяло лишь то, что все они принадлежали будущему) и привёл в район деловых контор, но и тут Скрудж не увидел себя. А Дух всё продолжал увлекать его дальше, как бы к некоей твёрдо

намеченной цели, пока Скрудж не взмолился, прося его помедлить немного.

— В этом дворе, через который мы так поспешно проходим, — сказал Скрудж, — находится моя контора. Я работаю тут уже много лет. Вон она. Покажи же мне, что ждёт меня впереди!

Дух приостановился, но рука его была простёрта в другом направлении.

— Этот дом здесь! — воскликнул Скрудж. — Почему же ты указываешь в другую сторону, Дух?

Неумолимый перст не дрогнул.

Скрудж торопливо шагнул к окну своей конторы и заглянул внутрь. Да, это по-прежнему была контора — только не его. Обстановка стала другой, и в кресле сидел не он. А рука Призрака всё так же указывала куда-то вдаль.

Скрудж снова присоединился к Призраку и, недоумевая, — куда же он сам-то мог подеваться? — последовал за ним. Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем ступить за эту ограду, Скрудж огляделся по сторонам.

Кладбище. Так вот где, должно быть, покоятся останки несчастного, чьё имя предстоит ему наконец узнать. Нечего сказать, подходящее для него место упокоения! Тесное — могила к могиле, — сжатое со всех сторон домами, заро-

шее сорной травой — жирной, впитавшей в себя не жизненные соки, а трупную гниль. Славное местечко!

Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Скрудж, трепеща, шагнул к ней. Ничто не изменилось в обличье Призрака, но Скрудж с ужасом почувствовал, что какой-то новый смысл открывается ему в этой величавой фигуре.

— Прежде чем я ступлю последний шаг к этой могильной плите, на которую ты указуешь, — сказал Скрудж, — ответь мне на один вопрос, Дух. Предстали ли мне призраки того, что будет, или призраки того, что может быть?

Но Дух всё так же безмолвствовал, а рука его указывала на могилу, у которой он остановился.

— Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведёт к предопределённому концу, — произнёс Скрудж. — Но если человек сойдёт с этого пути, то и конец будет другим. Скажи, ведь так же может измениться и то, что ты показываешь мне сейчас?

Но Призрак по-прежнему был безмолвен и неподвижен.

Дрожь пробрала Скруджа с головы до пят. На коленях он подполз к могиле и, следуя взглядом

за указующим перстом Призрака, прочёл на заросшей травой каменной плите своё собственное имя: ЭБИНИЗЕР СКРУДЖ.

— Так это был я — тот, кого видели мы на смертном одре? — возопил он, стоя на коленях.

Рука Призрака указала на него и снова на могилу.

— Нет, нет, Дух! О нет!

Рука оставалась неподвижной.

— Дух! — вскричал Скрудж, цепляясь за его подол. — Выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был. И я уже не буду таким, каким стал бы, не доведись мне встретиться с тобой. Зачем показываешь ты мне всё это, если нет для меня спасения!

В первый раз за всё время рука Призрака чуть приметно дрогнула.

— Добрый Дух, — продолжал молить его Скрудж, распростёршись перед ним на земле. — Ты жалеешь меня, самая твоя природа побуждает тебя к милосердию. Скажи же, что, изменив свою жизнь, я могу ещё спастись от участи, которая мне уготована.

Благостная рука затрепетала.

— Я буду чтить Рождество в сердце своём и хранить память о нём весь год. Я искуплю своё

Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание о трёх Духах всегда будет живо во мне. Я не забуду тех памятных уроков, не затворю своего сердца для них. О, скажи, что могу стереть надпись с этой могильной плиты!

И Скрудж в беспредельной муке схватил руку Призрака. Призрак сделал попытку освободиться, но отчаяние придало Скруджу силы, и он крепко вцепился в руку. Всё же Призрак оказался сильнее и оттолкнул Скруджа от себя.

Воздев руки в последней мольбе, Скрудж снова воззвал к Духу, чтобы он изменил его участь, и вдруг заметил, что в обличье Духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съёжился и превратился в резную колонку кровати.

Строфа пятая

Заключение

Да! И это была колонка его собственной кровати, и комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и Будущее принадлежало ему и он мог ещё изменить свою судьбу.

— Я искуплю своё Прошлое Настоящим и Бу-

дущим! — повторил Скрудж, проворно вылезая из постели. — И память о трёх Духах будет вечно жить во мне! О Джейкоб Марли! Возблагодарим же Небо и светлый праздник Рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб! На коленях!

Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо всё ещё было мокро от слёз, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умилостивить Духа.

— Он здесь! — кричал Скрудж, хватаясь за полог и прижимая его к груди. — Он здесь, и кольца здесь, и никто его не срывал! Всё здесь… и я здесь… и да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут, я знаю! Они сгинут!

Говоря так, он возился со своей одеждой, выворачивал её наизнанку, надевал задом наперёд, совал руку не в тот рукав и ногу не в ту штанину — словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей.

— Сам не знаю, что со мной творится! — вскричал он, плача и смеясь и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокоона. — Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я

школьник! А голова идёт кругом, как у пьяного! Поздравляю с Рождеством, с весёлыми Святками всех, всех! Желаю счастья в Новом году всем, всем на свете! Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ура! Ой-ля-ля!

Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись.

— Вот и кастрюлька, в которой была овсянка! — воскликнул он и снова забегал по комнате. — А вот через эту дверь проникла сюда Тень Джейкоба Марли. А в этом углу сидел Дух Нынешних Святок. А за этим окном я видел летающие души. Всё так, всё на месте, и всё это было, было! Ха-ха-ха!

Ничего не скажешь, это был превосходный смех, смех что надо — особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие ещё многих минут такого же радостного, весёлого, задушевного смеха.

— Какой же сегодня день, какое число? — вопросил Скрудж. — Не знаю, как долго пробыл я среди Духов. Не знаю. Я ничего не знаю. Я как новорождённое дитя. Пусть! Не беда. Оно и лучше — быть младенцем. Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ой-ля-ля!

Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-

динь-бом! Динь-динь-бом! Дили-ди-ли-дили! Дили-дили-дили! Бом-бом-бом! О, как чудесно! Как дивно, дивно! Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана! Ясный, погожий день. Колкий, бодрящий мороз. Он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая, бежать по жилам. Золотое солнце! Лазурное небо! Прозрачный свежий воздух! Весёлый перезвон колоколов! О, как чудесно! Как дивно, дивно!

— Какой нынче день? — свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам.

— ЧЕГО? — в неописуемом изумлении спросил мальчишка.

— Какой у нас нынче день, милый мальчуган? — повторил Скрудж.

— Нынче? — снова изумился мальчишка. — Да ведь нынче РОЖДЕСТВО!

«Рождество! — подумал Скрудж. — Так я не пропустил праздника! Духи свершили всё это в одну ночь. Они всё могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут. Разумеется».

— Послушай, милый мальчик!

— Эге? — отозвался мальчишка.

— Ты знаешь курятную лавку через квартал отсюда, на углу? — спросил Скрудж.

— Ну как не знать! — отвечал тот.

— Какой умный ребёнок! — восхитился Скрудж. — Изумительный ребёнок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную?

— Самую большую, с меня ростом?

— Какой поразительный ребёнок! — воскликнул Скрудж. — Поговорить с таким одно удовольствие. Да, да, самую большую, пострелёнок ты этакий!

— Она и сейчас там висит, — сообщил мальчишка.

— Висит? — сказал Скрудж. — Так сбегай купи её.

— Пошёл ты! — буркнул мальчишка.

— Нет, нет, я не шучу, — заверил его Скрудж. — Поди купи её, вели принести сюда, а я скажу им, куда её доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. А если обернёшься в пять минут, получишь полкроны!

Мальчишка полетел стрелой, и, верно, искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды.

— Я пошлю индюшку Бобу Крэтчиту! — пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. — То-то он будет голову ломать — кто это ему прислал. Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллеру никогда бы не придумать такой штуки — послать индюшку Бобу!

Перо плохо слушалось его, но он всё же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз — отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток.

— Я буду любить его до конца дней моих! — вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. — А ведь я и не смотрел на него прежде. Какое у него честное, открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура! Гоп-ля-ля! Моё почтение! С праздником!

Ну и индюшка же это была — всем индюшкам индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах — они бы подломились под её тяжестью, как две соломинки.

— Ну нет, вам её не дотащить до Кемден-Тауна, — сказал Скрудж. — Придётся нанять кеб.

Он говорил это, довольно посмеиваясь, и, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и, довольно посмеиваясь, заплатил за кеб, и, доволь-

но посмеиваясь, расплатился с мальчишкой, и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слёзы не потекли у него по щекам.

Побриться оказалось нелёгкой задачей, так как руки у него всё ещё сильно тряслись, а бритьё требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен.

Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ — совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провёл с Духом Нынешних Святок, и, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему:

— Доброе утро, сэр! С праздником вас!

И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой.

Не успел он отдалиться от дома, как увидел, что навстречу ему идёт дородный господин — тот самый, что, зайдя к нему в контору в Сочельник

вечером, спросил:

— Скрудж и Марли, если не ошибаюсь?

У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся, но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути.

— Приветствую вас, дорогой сэр, — сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. — Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие? Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!

— Мистер Скрудж?

— Совершенно верно, — отвечал Скрудж. — Это моё имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если… — Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо.

— Господи помилуй! — вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. — Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?

— Ни в коей мере, — сказал Скрудж. — И прошу вас, ни фартингом меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение?

— Дорогой сэр! — сказал тот, пожимая ему ру-

ку. — Я просто не знаю, как и благодарить вас, такая щедр…

— Прошу вас, ни слова больше, — прервал его Скрудж. — Доставьте мне удовольствие — зайдите меня проведать. Очень вас прошу.

— С радостью! — вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души.

— Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Тысячу раз благодарю! Премного вам обязан. Дай вам Бог здоровья!

Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и всё, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка — да и вообще что бы то ни было — может сделать его таким счастливым!

А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника.

Не раз и не два прошёлся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо.

— Дома хозяин? — спросил он девушку, от-

крывшую ему дверь. Какая милая девушка! Прекрасная девушка!

— Дома, сэр.

— А где он, моя прелесть? — спросил Скрудж.

— В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу.

— Благодарю. Ваш хозяин меня знает, — сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. — Я пройду сам, моя дорогая.

Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, всё ли на месте.

— Фред! — позвал Скрудж.

Силы небесные, как вздрогнула племянница! Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про неё в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так её пугать.

— С нами крестная сила! — вскричал Фред. — Кто это?

— Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришёл к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?

Примет ли он дядюшку! Да он на радостях едва

не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приёма он ещё отродясь не встречал.

Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришёл, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе.

Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всём! Какое счастье!

А наутро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. О да, он пришёл спозаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчита и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом.

И это ему удалось! Да, удалось! Часы пробили девять. Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настежь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнёт в свой чуланчик.

Ещё за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой тёплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бума-

ге пером, словно хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него девять часов.

— А вот и вы! — проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию. — Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?

— Прошу прощения, сэр, — сказал Боб. — Я в самом деле немного опоздал!

— Ах, вот как! Вы опоздали? — подхватил Скрудж. — О да, мне тоже кажется, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр.

— Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр, — жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. — Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться.

— Ну, вот что я вам скажу, приятель, — промолвил Скрудж. — Больше я этого не потерплю, а посему… — Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. — А посему, — продолжал Скрудж, — я намерен прибавить вам жалованья!

Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула было мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть «караул» и ждать, пока принесут сми-

рительную рубашку.

— Поздравляю вас с праздником, Боб, — сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу, и на этот раз видно было, что он в полном разуме. — И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих Святках, а то прежде вы по моей милости не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалованья и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна, а сейчас, Боб Крэтчит, прежде чем вы нацарапаете ещё хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведёрко угля да разжечь пожарче огонь.

И Скрудж сдержал своё слово. Он сделал всё, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А Малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким торовато-тым хозяином и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Да и не только наш — любой добрый старый город, или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания — смейтесь на здоровье. Он был достаточно умён и знал, что так уж

устроен мир, — всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеётся, — слепы, и думал: пусть себе смеются, лишь бы не плакали! На сердце у него было весело и легко, и для него этого было вполне довольно.

Больше он уже никогда не водил компании с духами — в этом смысле он придерживался принципов полного воздержания, — и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять Святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое! Про всех нас! А теперь нам остаётся только повторить за Малюткой Тимом: да осенит нас всех Господь Бог своею милостью!



А. Куприн
Тапёр



Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где её старшие сёстры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

— Mesdames, а где же тапёр? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит — мне не приказывали, тот говорит — это не моё

дело… У нас постоянно, постоянно так, — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. — Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга…

Самая старшая из сестёр, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнажённую шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

— Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, — сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подмётывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

— Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там всё это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю… Танечка, пойдём, пожалуйста, а

то ведь скоро шесть часов, через час и ёлку будем зажигать…

Тина только в этом году была допущена к устройству ёлки. Не далее как на прошлое Рождество её в это время запирали с младшей сестрой Катей и с её сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой ёлки, а что «просто только пришли полотёры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие её некоторым образом со старшими сёстрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то в Москве её репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых — большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, — круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого преду-

преждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, — и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьёзными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на Высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта весёлая задорная молодёжь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюблённости.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, сме-

шивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодёжь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь перевелись уже в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось ещё неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства, и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

— Ладно уж, ладно… будет петь-то… Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева — хозяйка дома — почти никогда не выходила из своих комнат,

кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урождённая княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество её мужа и детей слишком «мескинно» и «брютально», и потому равнодушно «иньорировала» его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор ещё, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра — элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался

домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шёл интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой грансеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживлённо. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодёжи неожиданное развлечение и самому принять в нём участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

— Молодые республиканцы! — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. — Вы, кажется, скоро все заснёте от ваших серьёзных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором почтеннейшей Олимпиады Савичны…

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Маври-

тании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады дурного тона». Но молодёжь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в ёлке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

— Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. — Он большой такой, гимназист последнего класса… нельзя же ему игрушку…

— Зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщён таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошёл в гостиную, так он папироску в рукав спрятал…

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него ёлка выходила на славу, и всегда приглашал оркестр Рябова. Но в этом году с музыкой произошёл целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день ёлки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то по всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапёра, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нём…

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапёре, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его

дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя её и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай её Бог разразит на этом самом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапёре. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, весёлая блондинка, которую вся прислуга обожала за её ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

— Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапёра. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать ёлки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны…

Едва она успела это произнести, как у дверей

передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушённых снегом и внёсших с собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи — Лыковых и Масловских — столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали всё новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале ещё не зажигали огня. Огромная ёлка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблёскивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша всё ещё не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила её в сторону и шептала взволнованно:

— Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

— Я уж не придумаю, что делать. Придётся попросить тётю Соню поиграть немного… А потом я её сама как-нибудь заменю.

— Благодарю покорно, — насмешливо возразила Лидия. — Тётя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошёл, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

— Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

— Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры.

— Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, — уклончиво ответил Лука. — Они в передней… Только что-то сомнительно-с… Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, ещё не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади её копошилась в тёмном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая жёлтый

башлык, окутывавший её голову.

— Только, барышня, не браните меня, — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. — Разрази меня бог — в пяти местах была и ни одного тапёра на застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать…

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идёт о нём, он в неловкой выжидательной позе держался в своём углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры тёмных волос, завивающихся «гнёздышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза — слишком большие для такого худенького детского лица — смотрели умно, твёрдо и не по-детски серьёзно. По первому впечатлению

мальчику можно было дать лет одиннадцать — двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

— Вы говорите, что вам уже приходилось… играть на вечерах?

— Да… я играл, — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. — Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький…

— Ах, нет, вовсе не это… Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

— Четырнадцать-с.

— Это, конечно, всё равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

— О нет, не беспокойтесь… Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая…

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

— Вы умеете, молодой человек, играть кад-

риль?

Мальчик качнулся туловищем вперёд, что должно было означать поклон.

— Умею-с.

— И вальс умеете?

— Да-с.

— Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

— Да, и польку тоже.

— А лансье? — продолжала дразнить его Лидия.

— Laissez donc, Lidie, vous êtes impossible, — строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряжённая неловкость его позы внезапно исчезла.

— Если вам угодно, mademoiselle, — резко повернулся он к Лидии, — то, кроме полек и кадрилей, я играю ещё все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

— Воображаю! — делано, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевёл глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь

эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

— Пожалуйста, прошу вас… позвольте мне что-нибудь сыграть…

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

— Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, — упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: — Ничего, ничего… Вы сыграете, и она останется с носом… Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влёкшей на буксире застенчивого улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетённых в шагрень нотных тетрадей и раскрыл её. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным

платьем на чёрном фоне неосвещённой гостиной, он спросил:

— Угодно вам «Rapsodie Hongroise» № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперёд нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза ещё больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил её на ухо:

— Где вы достали этого карапуза?

— Это тапёр, папа, — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. — Правда, отлично играет?

— Тапёр? Такой маленький? Неужели? — удивлялся Руднев. — Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его иг-

рать танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

— Да, вот оно что… Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но её уже не было в зале.

— Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, — ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. — Только я боюсь, что вы… как вас величать-то, я не знаю.

— Азагаров, Юрий Азагаров.

— Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдётся здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на ёлке. Затем Арка-

дий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа ребятишек, ошеломлённая внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумлённых забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом ёлки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска ёлочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг ёлки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного её отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под своё покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

— Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мель-

кали белые кружевные панталончики, русые и чёрные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошёл пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо — одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырёхугольный лоб был изборождён суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомлённо и недовольно; узкие бритые губы

были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперёд и твёрдо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную…

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошёл в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошёл вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чём-то просившему его хозяину:

— Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом…

— Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием, — продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочерёдно

вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлён, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идёт о нём, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

— Сыграйте, пожалуйста, ещё раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того, властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда ещё не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно

быть, не скоро будет ещё так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

— Вот что, голубчик Азагаров, — заговорил почти шёпотом Аркадий Николаевич, — возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, — в нём деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезёт Антон Григорьевич.

— Но ведь я могу ещё хоть целый вечер играть, — возразил было мальчик.

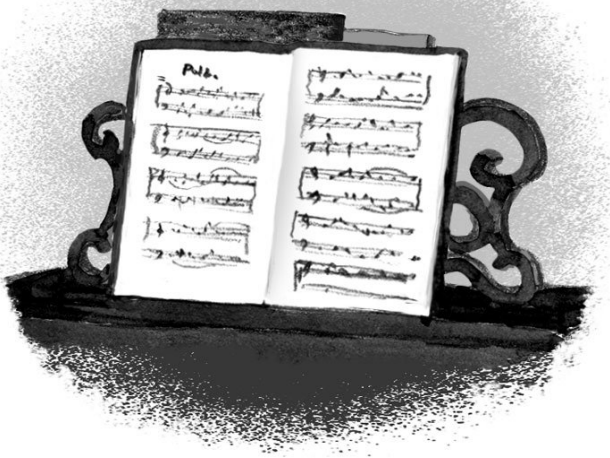
— Тсс!.. — закрыл глаза Руднев. — Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая всё больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

— Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас,

дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на ёлке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой…

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычный гость с царственным лицом ещё раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную Рождественскую ночь его великий учитель.


Pno.

А. Куприн
Чудесный доктор



Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Всё описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдёт речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросёнок-то… Сме-

ётся… Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри… травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещённые ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копчёные и маринованные рыбы; ниже, окружённые гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала… Бесчисленное множество баночек и коробочек с солёными, варёными и копчёными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, — поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дёрнул брата за рукав и произнёс сурово:

— Ну, Володя, идём, идём… Нечего тут…

Одновременно подавив тяжёлый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюблённо-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели ёлку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки весёлой польки… Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, всё малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие ёлки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, весёлый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам — всё осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещённые косогоры…

Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его — собственно подвал — был каменный, а верх — деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили её.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье.

Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрёпкам, сушившимся на протянутой через комнату верёвке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс — настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; её лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно.

Рядом с постелью, в люльке, привешенной к

потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлёбываясь, грудной ребёнок. Высокая, худая женщина, с измождённым, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад своё встревоженное лицо.

— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

— Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

— Ну, и что же? Что ты ему сказал?

— Да всё, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда… Сволочи вы…»

— Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

— Швейцар разговаривал… Кто же ещё? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман… Есть тоже у барина время ваши письма читать…»

— Ну, а ты?

— Я ему всё, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего… Машутка больна… Помирает…» Говорю: «Как папа место найдёт, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к чёрту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

— А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата.

Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

— Вот оно, письмо-то…

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспре-

рывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

— Там борщ есть, от обеда остался… Может, поели бы? Только холодный — разогреть-то нечем…

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика — все трое даже побледнев от напряжённого ожидания — обернулись в эту сторону.

Вошёл Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щёки облипли вокруг дёсен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим… Началась отчаянная,

судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут ещё пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она подённо стирала бельё.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов… Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег… Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрё-

панную шляпу.

— Куда ты? — тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

— Всё равно, сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду ещё… Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно вперёд. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочёл ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй — его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось всё время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Маши-

нально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесённых снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую верёвку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить своё страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчётливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту

сторону. Кто-то шёл по аллее. Сначала был виден огонёк то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в тёплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец. — Морозно… тихо. Что за прелесть — русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свёртков). — Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым

человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

— Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я… а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают… Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребёнок целый день не ел… Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдёт, но он ошибся. Старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном:

— Подождите… не волнуйтесь! Расскажите мне всё по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребёнка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец

слушал, не перебивая его ни словом, и только всё пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущённой души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. — Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но… поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слёзы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопчённый чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошёл к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. —

Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить всё, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом… Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдёте в аптеку… давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание… Продолжайте согревающий компресс… Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас

же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, всё ещё не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

— Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнёс:

— Э! Вот ещё пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов…

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикреплённом к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова — того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом.

Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз:

— С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Всё переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казённый счёт. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор — это когда его перевозили мёртвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в

чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.

